
ЕВА ВЕРЕСОВА
Заморозить нельзя растаять,
или Королева на полставки

Ева Вересова

Заморозить нельзя растаять, или Королева на полставки

https://litres.ru/74703644
SelfPub; 2026

Аннотация

Меня зовут Кира Лебедева, и я никогда не подписываю того, что не прочитала. Поэтому, когда я заморозила залив на краю сказочной страны и из лунки вынырнул морж и назвал меня королевой, я попросила документы.

Документов оказалось тысяча четыреста страниц. Четыре бочки ворвани в казне, долг на всё, включая солнце, и срок выселения через девять месяцев.

Я поехала сюда на лето. Я не знала, что здесь месяц идёт за три, а моя младшая сестра растёт в письмах быстрее, чем я успеваю отвечать. Я договорилась: королева на половину ставки. Подписала. Только потом заметила, что мне стало не хватать тени.

А ещё у меня есть Зайцев. Щуплый, в аляске, из Мурманска. Он исчезает от страха и от радости, и не исчезает, только когда я его держу. Я держу крепко.

Нам сказали: башню надо заморозить и разбить. Я заморозила. А она спросила детским голосом: «Меня кто-нибудь ищет?»

Заморозить нельзя растаять. Весь вопрос в том, где стоит запятая. И кто её поставил.

Ева Вересова
Заморозить нельзя растаять, или Королева на полставки

Ева Вересова
Заморозить нельзя растаять,
или Королева на полставки
Безымянный остров. Книга вторая

Аннотация

Меня зовут Кира Лебедева, и я никогда не подписываю того, что не прочитала. Поэтому, когда я заморозила залив на краю сказочной страны, чтобы дойти до одной башни, и из лунки вынырнул морж и назвал меня королевой, я попросила документы.

Документов оказалось тысяча четыреста страниц. Королевство размером с Норвегию, четыре бочки ворвани в казне, долг на всё, включая солнце, и срок выселения через девять месяцев.

Я поехала сюда на лето. Я не знала, что здесь месяц идёт за три, а моя младшая сестра растёт в письмах быстрее, чем я успеваю отвечать. Я договорилась, как умею: королева на по-

ловину ставки, без брака, с правом выхода. Подписала. Только потом заметила, что мне стало не хватать тени.

А ещё у меня есть Зайцев. Щуплый, в аляске, из Мурманска. Исчезает от страха и от радости, и не исчезает только тогда, когда я его держу. Я держу крепко. Я умею. Это единственное, в чём я не сомневалась.

Нам сказали: башню надо заморозить и разбить. Я заморозила. А она спросила детским голосом: «Меня кто-нибудь ищет?»

Заморозить нельзя растаять. Весь вопрос в том, где стоит запятая. И кто её поставил.

Часть первая. На лето

Глава 1.
В которой я еду на лето

Мой отец учил меня двум вещам: читать договор до конца и никогда не верить человеку, который говорит «да там всё стандартно».

Он учил меня этому за завтраком, когда мне было семь. Другим детям за завтраком рассказывали про зубную фею. Мне рассказывали, что зубная фея работает без оферты, а значит, монетка под подушкой является дарением и может быть оспорена. Я считала это смешным лет до двенадцати. Потом я узнала, что папа не шутил.

Всё, что не записано, не существует. Это первое правило.

Второе правило: всё, что записано, существует ровно так, как записано, а не так, как ты думала. Поэтому я, Кира Игоревна Лебедева, двадцать четыре года, студентка второго курса Санкт-Петербургского института практической теургии, кафедра стихий, лёд, восемь баллов из десяти на вступительном и девять с половиной на последней аттестации, никогда не подписываю того, что не прочитала. Ни разу. Ни одного чека в ресторане. Ни одной бумажки в поликлинике. На прошлый день рождения мне прислали открытку с просьбой расписаться в получении, и я попросила курьера подождать, пока я дочитаю мелкий шрифт на обороте.

Я сообщаю это сразу, чтобы вы правильно оценили следующий факт.

В июне две тысячи двадцать седьмого года я сказала своему молодому человеку, своей лучшей подруге и говорящему термосу: «Это на лето».

Устно.

Никто ничего не записал.

* * *

Утро первого дня началось с того, что утро не началось.

Я проснулась на широкой постели под балдахином из чего-то белого и невесомого, что на ощупь было как туман и на проверку оказалось туманом, причём слегка влажным. За окном стояло солнце. Оно висело над самым краем реки, круглое, розовое, полупрозрачное, как леденец, который долго сосали и вынули посмотреть. В тот момент, когда я

легла, оно висело там же. Я проверила по телефону: прошло девять часов. Телефон показывал ноль процентов связи и восемьдесят один процент заряда, а солнце не показывало ничего, потому что не сдвинулось ни на волос.

Я сказала вслух:

— Нет.

Это я сказала солнцу. Я человек режимный. Я встаю в шесть тридцать, сорок минут трачу на лицо и ложусь в половине двенадцатого, и за всю мою жизнь эту систему поколебали только экзамены, смерть надежд на нормальную семью и один эпизод с Зайцевым на крыше, о котором я рассказывать не буду. Спать при свете я не умею. У меня для этого есть шёлковая маска, но маска лежала на дне чемодана, а чемодан лежал на другом конце какой-то анфилады, потому что его забрал лев.

Да. Его забрал лев.

Вчера, когда мы с Зайцевым остались, а Варя с Германом и термосом ушли обратно через мост, к нам подошёл лев размером с небольшой фургон, розовато-серый, с золотыми глазами, деликатно взял зубами ручку чемодана и сказал сквозь чемодан:

— Позвольте, сударыня.

И унёс. Я шла за ним с прямой спиной, потому что в первые сутки на новом месте надо вести себя так, будто ты здесь уже владеешь контрольным пакетом. Тёма шёл рядом и держался за мою руку. Он исчез всего дважды, оба раза от вос-

торга. Один раз вернулся с полными карманами чего-то зелёного.

Сейчас он лежал на другой половине постели, лицом в подушку, в майке с надписью «Северное морское пароходство» и в носках, и спал так, как спят только люди, которых растили в городе, где два месяца в году вообще не бывает ночи. Для него это солнце было просто июнем.

Я смотрела на его затылок. Светлые волосы торчали вихром, который не брала ни одна расчёска, включая мою, стоимостью в его годовую стипендию. Щуплая лопатка. Сгиб локтя. Левая рука у него лежала поверх одеяла, раскрытая, и пальцы подрагивали. Ему что-то снилось.

Когда ему снится что-то страшное, воздух вокруг него начинает мелко рябить, как над асфальтом в жару. Ещё секунда, и будет хлоп, и он окажется на люстре, на чужом балконе или в кабинете ректора, в носках и в ужасе.

Я протянула руку и взяла его за запястье.

Рябь пропала. Он вздохнул, не просыпаясь, и уткнулся носом мне в локоть.

Вот. Этому я научилась сама, без репетитора и без кафедры. Год назад выяснилось, что Зайцев не может исчезнуть, если его по-настоящему держать. Не цепляться, а именно держать: ровно, уверенно, всем весом намерения. Как держат контрольный пакет. Варя говорила, что это самая романтичная вещь, которую она слышала. Герман записал это в какой-то протокол. Я сказала тогда, что это мой источник.

Больше не одиночество. Держать.

Мне нравилось так говорить. Звучало как итог хорошего финансового года.

— Вульгарно, — произнёс кто-то в комнате.

Голос был женский, прокуренный, с лёгким нажимом на вторую гласную и с такой дикцией, какую я слышала только у бывшей жены папиного партнёра и у дамы, которая в Милане отказалась продать мне платье, потому что я «ещё не доросла до этого плеча».

Я села. Тёмино запястье я не отпустила. В комнате никого не было. Круглая белая спальня, высокие окна без рам, пол из розового камня. Кресло. На кресле жёлтая кожаная сумка с двумя ручками и маленьким замочком.

Я знала эту сумку. Эту сумку знал весь Институт: её описание было подшито к личному делу Вероники Кранц. Именно с ней пятнадцатилетняя Ника ушла в зеркало тринадцать лет назад по нашему времени. Вчера она получила от брата новую, такую же, и повизжала, а старую, судя по всему, кто-то принёс сюда.

— Спать в носках, — сказала сумка. — С мужчиной. Под балдахином ручной работы. И ещё держать его за руку, как будто он сейчас пойдёт в первый класс. Милочка, я видела, как падала империя, но я не думала, что увижу ещё и это.

Замочек на ней чуть покачивался в такт словам.

Я человек подготовленный. Я училась в одном заведении с кафедрой прикладной радости. Я дружу с женщиной, у ко-

торой холодильник просит её руки у жениха. Поэтому я посмотрела на сумку ровно столько, сколько требовала вежливость, и спросила:

— С кем имею честь?

— Вот, — сказала сумка с глубоким удовлетворением. — Вот это уже разговор. Вас хотя бы учили. Мадам. Просто Мадам, без отчества, я не из тех. Девочка таскала меня пять лет по этому розовому курятнику, клала в меня ромашки, дохлых жуков и бутерброды. Я за это время заговорила. От горя, полагаю. Теперь у неё новая. А меня она велела передать вам, поскольку у вас, цитирую, «есть вкус и нет друзей».

— У меня есть друзья.

— Двое, и один из них в термосе. Милочка, я всё знаю, я висела на плече у королевы. — Замочек качнулся. — Я стою как однокомнатная квартира в приличном спальном районе. В сохранившемся состоянии как двухкомнатная. Прошу не класть в меня ничего мокрого, ничего живого и ничего, что куплено на распродаже. Внутри я, к слову, бездонна. Это побочный эффект, никому не говорите, поставщик будет недоволен.

Я подумала. Встала, не выпуская Зайцева, дотянулась свободной рукой до кресла и взяла Мадам за ручку.

Кожа была тёплая. Отличная выделка. Шов ровный, седельный, ручной. На дне, если заглянуть, не было дна, а было что-то вроде длинного тёмного коридора, из которого тянуло ромашками.

— Договорились, — сказала я. — Без мокрого. Сколько вам лет?

— Дама не отвечает. А вы бы лучше подумали, сколько вам. — Голос стал суше. — Вы уже смотрели, какое сегодня число?

— Двенадцатое июня, — сказала я.

— Милочка, — сказала Мадам почти нежно. — Как прелестно.

* * *

Завтракали на набережной.

Здесь всё было на набережной, потому что здесь всё было из одной открытки. Перламутровая река, широкая и неторопливая. Розовый гранит, который грел подошвы через кроссовки, как тёплый пол в хорошем отеле. Сфинксов не было, зато львов хватило бы на два зоопарка, и каждый занимался своим делом: один дремал, другой разбирал какой-то спор между двумя утками, третий, самый старый и огромный, у самой воды, читал вслух «Медного всадника» и, по-видимому, собирался читать его до конца времён. Мальчик в матроске и короне набекрень сидел у него на лапе, болтал ногой и подсказывал.

Лев не нуждался в подсказках. Он только на каждую из них делал паузу и говорил: «Благодарю, ваше величество».

Стол поставили прямо на ступенях. На столе был творог.

Я отнеслась к нему с подозрением. Это был белый творог горкой, в глиняной миске, и над ним стоял лёгкий пар, хотя

творог был холодный. Он слегка колыхался. От него пахло молоком, дождём и ванилью.

— Туманные коровы, — сказала Ника, садясь напротив. — Ешь. Он сладкий, но ты привыкнешь. Зайцев, вау, ты бледный! Ты всегда такой или это от меня?

Ника Кранц выглядела лет на двадцать. Я не могу сказать, что она была красива. Я бы сказала, что она была заразна. Высокая, тонкая, с такими светлыми волосами и такими длинными ногами, что на любом подиуме ей предложили бы контракт и попросили бы не разговаривать. Курносая, в веснушках, в белом платье и ромашковом венке, с новой оранжевой коробкой под мышкой, потому что она, очевидно, не могла с ней расстаться. Сидела она на каменном стуле так, что одна нога была поджата под себя, а вторая болталась в воздухе. Серые глаза были в точности как у Германа, только у Германа в них всегда стояла вода из-под крана, а у неё там кто-то прыгал на батуте.

— Я не бледный, — сказал Тёма. — Я всегда такой. Я из Мурманска.

— А-а-а, — сказала Ника так, будто это всё объясняло, и обернулась ко мне. — Значит, смотри. Башня.

Она ткнула в сторону ложкой.

Я проследила. Вчера я её уже видела, но вчера у меня в голове ещё были Варя, Лиза и незакрытая задача про то, сколько мне нужно туфель на три месяца. Сегодня я посмотрела как положено: как смотришь на объект, который тебе пред-

стоит купить.

За рекой лежал город на холме, из белого камня, с мостами и садами, а дальше шла зелёная, потом голубая, потом совсем прозрачная даль. И на самом краю неба, там, где эта даль кончалась, стояла вертикальная черта. Тонкая и белая, как царапина на стекле. Я прищурилась. Черта была не ровная: по ней сверху вниз шли ломаные тёмные линии. От самого её подножия поднималось пятно, тяжёлое и серое, как старый синяк.

Единственная грязная вещь в стране, где даже утки выглядели так, будто их утром постирали.

— Белая башня, — сказала Ника. — Миша на неё лазил, когда был королём. Оттуда видно всё, вообще всё. А теперь она вот такая. Трещины ползут, каждый месяц новая, я меряю. Я её смехом пять лет лечила, Ира танцем, Миша вернулся и вчера смеялся ей с холма минут сорок, аж охрип. Туман не уходит. Он даже не шевелится. Он как... ну, знаешь, такой родственник, которому всё равно, что ты ему говоришь.

— Знаю, — сказала я.

— И вот. Если она рухнет, а она рухнет, то всё это, — ложка описала круг, — посыплется. Она держит край. Там страна кончается, понимаешь? За Башней уже ничего нет. Мы так думаем. Нужно этот туман заморозить, чтобы встал, как камень, и разбить. Ира так считает. Она не помнит почему, просто считает. У неё такое лицо становится, когда про

это говоришь, как будто ей зуб сверлят. Поэтому ты.

— Сроки? — сказала я.

Ника моргнула.

— Что?

— Сроки. Бюджет. Кто отвечает за логистику. Кто принимает работу. Что считать результатом. Сколько человек погибло на этом объекте за последние пять лет, и если ноль, то почему вы до сих пор туда никого не посылали. Какой у меня статус, потому что я приехала сюда как гость, а работать как гость не буду. Это первое. Второе: время. Ты сказала Герману, что у нас прошло тринадцать лет, а у тебя пять. Это коэффициент два и шесть. Я взяла это за основу. Двадцать пятого августа день рождения у моей сестры, до него семьдесят пять наших дней, значит, двадцать девять здешних. Сегодня двенадцатое июня. У меня двадцать девять дней на объект, с запасом на дорогу. Мне нужен график.

Наступила тишина.

Тёма, который в этот момент осторожно нёс ко рту ложку творога, донёс её и съел. Творог, кажется, ему понравился, потому что воздух вокруг него на мгновение пошёл мелкой рябью, и я, не глядя, положила ладонь ему на колено. Рябь улеглась.

Ника смотрела на меня с открытым ртом. Потом медленно расцвела.

— Гера, — сказала она с благоговением. — Ты вылитый Гера, только в юбке и злее. Вау. Слушай, я тебя обожаю. Нет,

график я не знаю. Вообще ни про что. Спроси лучше у Иры, она вон там, она на корабле, она орёт.

Она действительно орала. Звук доходил до нас с реки, чистый, звонкий и абсолютно беспощадный:

— От плеча, курицы! Какой локоть, кто тебе дал локоть? Локоть тебе дали, чтобы ты им не пользовалась!

Я перевела взгляд на реку, на корабль с парусами из тумана и на тонкую фигуру на носу.

— Подожди, — сказала Ника и наморщила нос. — Ты сказала двенадцатое. Ты сказала «сегодня двенадцатое». А ты знаешь, что...

Но тут со стороны льва раздался пронзительный вопль:

— Я КАРОЛЬ, А ОН МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТ!

Лев, по-видимому, позволил себе не сделать паузу. Ника вскочила на одну ногу, обе руки в воздух, и понеслась разбираться. Венок съехал ей на ухо. Коробку она так и не выпустила.

— Что она хотела сказать? — спросил Тёма.

— Понятия не имею, — сказала я и взяла ложку.

Творог был сладкий. Отвратительно, вызывающе сладкий, и он таял на языке, оставляя чувство, будто тебя только что пожалели. Я отодвинула миску. Потом, поскольку на меня никто не смотрел, подвинула обратно.

* * *

Я отвечу на вопрос, который вы себе задаёте. Что я, собственно, здесь забыла.

Год назад я бы ответила: ничего. Я бы сказала, что у меня лето, что Лиза приезжает ко мне по договору на четыре недели в июле, что в сентябре я перевожусь на старший поток, а к двадцати семи намерена возглавить кафедру, потому что это единственное место в Петербурге, где папин холдинг ничего не решает, и я хотела посмотреть, чего стою без него.

Но Варя Кранц, моя подруга, беременная, в дурацком жёлтом дождевике, вчера стояла на этом граните и смотрела на меня, пока я смотрела на Башню. И Ника сказала: «Я знаю. Я тебя поэтому и позвала». И я, которая ни разу в жизни никому не была нужна просто так, без контракта и без папы, услышала: нужен лёд. Твой. Больше ни у кого такого нет.

Я прекрасно понимаю, как это работает. Это называется «крючок». Так продают страховки одиноким вдовам.

Я всё равно клюнула. Если вы думаете, что от понимания становится легче, вы никогда не были богатой и никому не нужной девочкой с восемью баллами из десяти.

Лизе я обещала письмо. Лизе обещала в первую очередь.

Тут я должна объяснить про Лизу. Ей девять. То есть десять, в августе будет одиннадцать, но для меня она останется девять, потому что год назад в девять лет она первый раз рассказала мне, что в школе её никто не зовёт на дни рождения, потому что «у них мамы стесняются нашего дома». Моя мама умерла, когда мне было шесть. Лизина мама не умерла, она живёт в Монако и присылает открытки с собачками. Лиза звонит мне по воскресеньям, с тех пор как ей дали те-

лефон. Сначала тайком от отца. Теперь открыто, по третьему пункту договора. Она рассказывает мне про природоведение, про мальчика Глеба, который дурак, и про то, как ухаживать за морской свинкой, потому что папа сказал «нет» собаке, зато не успел сказать ничего про морскую свинку. Я слушаю. Я ставлю звонок в календарь на шестнадцать ноль-ноль и не пропустила ни одного за четыре года, даже когда мы с Варей шли по Междумостью, потому что перед этим я предупредила, что в воскресенье у меня плохая связь. Лиза тогда сказала: «Кирочка, а ты мне в понедельник позвони. Я никому не скажу». Как будто я что-то нарушаю. Как будто я кому-то могу быть обязана этим разрешением.

Я ношу в волосах резинку, которую она мне подарила на шестой день рождения. Розовую, с пластмассовой клубничкой. Она стоила, по моим оценкам, сорок рублей. Я не хочу это обсуждать.

В Белоночье нет связи. Я выяснила это за первые сутки и заранее договорилась о почте. Ника сказала: «Легко». Вон в той галерее, в конце, у неё висело зеркало, а точнее, штук двенадцать зеркал, потому что она их собирала. Стекло могло пропустить туда и обратно лист бумаги: это она придумала, когда научилась, как это делать, в прошлом году по-нашему. Бумага проходит, живое нет. Бумага выходит из зеркала в квартире на Большой Пушкарской, дом девять, потому что там теперь то самое новое зеркало, подарок мой. Письмо Варя заберёт, положит в конверт и отправит. Никаких про-

блем. Быстрая доставка.

Я написала письмо сразу после завтрака. Оно было короткое, потому что я не умею иначе.

«Лиза. Я на месте. Здесь красиво и невыносимо сладко. Солнце не садится, я это обжалую. Львы говорят. Один из них нёс мой чемодан и не уронил, так что можешь сказать Глебу, что он дурак вдвойне. Как свинка? Звонить не смогу, связи нет, но письма доходят быстро, поэтому пиши мне каждое воскресенье, как будто звонишь. В четыре часа. Я буду читать в четыре часа. Приеду к твоему дню рождения. Кира».

Я перечитала. Вычеркнула «невыносимо». Вписала обратно. Сложила и отнесла в галерею.

Галерея шла вдоль реки, белая и пустая, с окнами без стёкол. В конце на стене висели зеркала, разные, в разных рамах: круглое, венецианское, пудреница на гвозде, зеркало заднего вида неизвестно от какой машины. Большое новое висело посередине. Золотая рама. Я сама его выбирала и сама на него смотрела, стоя в квартире номер шесть, и сейчас с этой стороны видела только мутную белую глубину, как молоко в стакане.

Я приложила письмо к стеклу. Стекло подумало и втянуло бумагу, как ребёнок втягивает макаронину.

Вот и всё. Девять двадцать утра по моему телефону. Двенадцатое июня.

Я вернулась на набережную. Я нашла чемодан (лев принёс

его сам, извинился за следы зубов и получил от меня подробную инструкцию, что делать с вмятиной). Я разложила вещи. Я нарисовала стрелки. Я составила список вопросов к Ире Ветровой, двадцать четыре пункта. Потом ещё час смотрела в подзорную трубу, которую откуда-то притащил Зайцев, на царапину на краю неба. И когда на моём телефоне было пятнадцать сорок, в комнату вошёл маленький белый лемминг в синей жилетке почтальона, поклонился и положил на пол конверт.

— Вам из зеркала, сударыня, — пискнул он и удалился.

Конверт был голубой, с наклейкой в виде морской свинки в короне. Почерк я узнала с первой буквы. Круглый, старательный, с хвостиком у «д».

Шесть часов двадцать минут. Умножаем на два и шесть, получаем шестнадцать с половиной наших часов. Варя, видимо, отправила не почтой, а такси. Быстро. Я осталась довольна сервисом.

Я вскрыла конверт.

«Кира.

Твое письмо пришло вчера. Варя привезла сама на такси и живот у нее уже прямо как дыня, она говорит что не может завязать кеды.

Ты написала пиши мне каждое воскресенье как будто звонишь. Я и так писала. Я не знала куда отправлять поэтому писала и складывала. Вот они тут в конверте, их восемь штук, там числа.

Я каждое воскресенье сидела в 4 часа с телефоном. Папа сказал ты занята. Варя сказала у тебя плохая связь. Я не дура, я знаю что значит плохая связь.

Ты пишешь что приедешь на мой день рождения. Я просто спрашиваю. Ты еще приедешь? Потому что он через девятнадцать дней.

Свинка хорошо. Ее зовут Пуговка.

Лиза.

P.S. Глеб не дурак. Я тебе больше про него не буду рассказывать.

P.P.S. Сегодня 6 августа».

Я прочитала это один раз.

Потом я достала из конверта восемь листов в линейку. На них действительно стояли числа. Тринадцатое июня. Двадцатое июня. Двадцать седьмое. Четвёртое июля. На первом листе было нарисовано сердечко и свинка в короне и стояло три восклицательных знака. На последнем не было ничего, кроме числа и двух строчек про контрольную.

Сердце у меня работало ровно. Я проверила. Я человек, который умеет не менять выражения лица, когда на совете директоров сообщают о банкротстве дочерней компании. Я положила листы на стол, по порядку, выровняла края и посмотрела на телефон.

Пятнадцать сорок две. Двенадцатое июня. Восемьдесят процентов заряда.

Восемьдесят процентов. За сутки. Телефон, который в

обычной жизни я заряжаю к вечеру.

Я начала считать. С шестого августа, минус шестнадцать часов, получается пятое. От одиннадцатого июня до пятого августа пятьдесят пять наших дней. Делим на два и шесть. Двадцать один день.

Я сплю восемь часов. Я встала сегодня утром. Я помню, как легла.

— Милочка, — сказала Мадам с кресла. Без всякого удовольствия, что особенно неприятно. — Я же спрашивала, какое сегодня число.

Хлоп. Это Тёма появился посреди комнаты, с подзорной трубой, радостный и в перьях.

— Кир, а там чайки! — сказал он. — Они разговаривают! Одна сказала, что я... Кир? Кира. Ты чего?

Я посмотрела на него. На трубу. На чемодан со следами зубов, на который лёг ровный слой мелкой розовой пыли. Я только сейчас обратила на него внимание. На солнце за окном, которое висело где висело, круглое и никуда не торопящееся.

— Зайцев, — сказала я голосом, каким сообщают прогноз погоды. — Найди мне Веронику Кранц. Прямо сейчас. Скажи, что у меня к ней один уточняющий вопрос про то, что она хотела сказать за завтраком.

Я сняла с волос резинку с клубничкой. Подержала в кулаке. Надела обратно.

— Спроси у неё, сколько здесь обычно спят в первую

ночь.

* * *

— Три недели, — сказала Ника. Она стояла в дверях на одной ноге и смотрела на восемь листов на столе, и батут у неё в глазах наконец остановился. — Ну, у тебя три. У меня был месяц. У Иры, когда ей было десять, вообще четыре дня, но она маленькая была. Это граница из тебя выходит. Все так спят. И телефон спит, он же у тебя на тумбочке лежал, а тумбочка тоже... Ну, я же хотела сказать! Я начала говорить! А потом Миша.

— Двадцать один день, — сказала я.

— Кир, ну тут все так, тут никто не считает...

— У меня было двадцать девять. Теперь у меня восемь. — Я сложила листы. — Спасибо, Вероника. Ты мне очень помогла. Где у вас корабль?

Глава 2. В которой я останавливаю море

Корабль назывался «Корабль».

Я спросила. Я всегда спрашиваю название судна, регистрацию и страховую компанию, это привычка с тех пор, как папин партнёр утопил яхту у Сардинии и выяснилось, что она принадлежала кипрскому офшору, а офшор принадлежал его тёще. Мне ответил дух в виде рваного клочка тумана, который сидел на бушприте и исполнял, как я поняла, обязанности боцмана.

— «Корабль», барышня, — прошелестел он. — В книж-

ке он так и назывался. «Корабль из тумана». Автор не стала выдумывать.

Паруса у него действительно были из тумана. Я потрогала край. Рука прошла насквозь и вышла мокрой. При этом парус тянул, надувался и нёс нас против течения со скоростью примерно хорошего городского автобуса, как заметил Зайцев, который на эти вещи смотрит как специалист.

На корабле ехало двадцать шесть человек. Пятнадцать девочек в белых платьях, от восьми до семнадцати лет, все местные, все с руками от локтя. Семь неопределённых матросов, которых нельзя было пересчитать, потому что они то и дело переставали быть. Ника, которая сказала, что Башню ей лучше видеть самой, а королевство подождёт, «оно у меня ко всему привыкло». Миша, которому запретили ехать и который нашёлся через час в бочке из-под творога. Мы с Зайцевым.

И Ира Ветрова.

Я подошла к ней на второй день пути. Точнее, на второй день пути по моему новому счёту: я завела журнал, поскольку телефону больше не верила, и заставила Тёму каждые восемь часов расписываться в нём рядом с моей подписью. Это называется двойной контроль. Я отвела на путь шесть суток. До дня рождения Лизы оставалось восемь.

Я успевала, если Башня сдастся за сутки. В своих силах я не сомневалась. Я вообще редко сомневаюсь в смете, сомневаться надо раньше.

Ира стояла на носу в тонком белом платье. Я видела её прошлым летом, когда ей был восемьдесят один год и она курила «Беломор» в форточку. Теперь ей было двадцать. Узел тёмных волос, длинная шея, ключицы, которые хотелось застраховать отдельно. Спина оставалась той же: прямая, как приговор.

Девочки стояли перед ней в три ряда и держали руки в воздухе.

— Семьдесят три, семьдесят четыре, — считала Ира. — Катя, я вижу твоё плечо, оно подняло ухо. Ты что, с ним дружишь? Опусти, семьдесят пять. Вы думаете, рука начинается здесь? — Она ткнула себя в локоть. — Рука начинается здесь. — Ткнула в лопатку. — Рука начинается оттуда, где тебе было больно. Отсюда и держи. Семьдесят шесть. Лебедева, ты что-то хотела или ты пришла мне мешать?

Я раскрыла блокнот.

— Двадцать четыре вопроса, — сказала я. — Первый. Почему туман в Башне надо заморозить и разбить, и откуда вы это знаете.

Ира не обернулась. Но движение прошло по её спине сверху вниз, как проходит по воде от брошенного камешка. Девочки дружно уставились в палубу.

— Отдыхать, курицы, — сказала она. — Десять минут. Кто сядет, тот не встанет.

Они разлетелись. Ира подошла к борту, положила руки на планшир и посмотрела на воду. Папиросы у неё не было. Я

заметила, как двигались её пальцы, пока она смотрела: указательный и средний сходились и расходились, как будто пытались держать мундштук.

— Откуда, — сказала она. — Хороший вопрос, Лебедева. Давай я тебе расскажу откуда. Я в шестьдесят шестом запечатала зеркало. Смехом. Это ты знаешь, это вся ваша коммуналка знает, даже холодильник. Меня погасили за это наполовину, и половины памяти у меня с тех пор как не было. Год туда, год сюда. Шестьдесят лет жила и думала, что это старость. Теперь мне двадцать, и на голову я жаловаться не могу, а дырка, видишь, осталась. Там лежит что-то, и я про него ничего не знаю. Только когда я смотрю на Башню, мне хочется выйти из комнаты.

— Это не ответ.

— Это единственное, что я могу тебе сказать. — Она наконец повернула голову. Глаза у неё были тёмные и насмешливые, а в углах от них, несмотря на двадцать лет, лежало что-то, чему полагалось быть морщинами. — Что туман надо разбить, это я знаю как таблицу умножения. Он мой. Это я его там оставила. Такое нельзя смеяться прочь, с ним можно только покончить, чтобы и духу не было. Вот откуда. А теперь давай свой второй вопрос, у тебя лицо, как у налоговой.

Я заглянула в блокнот. Второй вопрос был: «Что вы получите, если объект будет уничтожен?» Я сформулировала его в расчёте на контрагента. Ира не была контрагентом. Ира была человеком, который своей рукой подарил мне год назад

единственную в жизни насмешку, от которой я не заплакала в ванной. Она тогда сказала мне на коммунальной кухне: «Ты, Лебедева, из тех, кто всю жизнь держит спину, потому что больше нечего держать. Это я тебе как коллега».

— Что будет, если я заморожу не то? — спросила я.

Ира долго смотрела на меня. Потом усмехнулась, одним углом рта.

— А то же, что всегда, деточка, — сказала она. — Кто-нибудь подпишет. Катя! Плечо!

* * *

Меня тем не менее беспокоил Зайцев.

Беспокоил мелко и ежедневно, как камешек в дорогой туфле, потому что серьёзно беспокоиться из-за него я считала ниже своего достоинства. Для начала, его укачивало. Для этого не обязательно было смотреть на море: его укачивало на причале, в постели и один раз на стуле. Он становился зелёным, говорил: «Это ничего, я сейчас», и воздух вокруг него начинал дрожать. Тогда я брала его за руку.

На корабле я держала его, по моим подсчётам, часов девять в сутки.

Это было вполне допустимо. Я умею работать одной рукой. Я подписывала бумаги, вела журнал, допрашивала матросов, ела сладкий творог, делала маникюр, а когда левая рука была занята Зайцевым, красила ногти на левой правой, а на правой не красила, что, конечно, никуда не годилось. Но он ни разу не вывалился за борт. Он ни разу не оказался

на верхушке мачты, в трюме среди коров или, как случилось в первый же вечер до того, как я взяла это под контроль, в бочке вместе с королём.

— Кир, — сказал он на третий день. Мы сидели на корме, свесив ноги. Река здесь стала шире, берега ушли, и вода лежала вокруг перламутровая и тихая, а коровы шли рядом с кораблём по воде. Да, по воде. Белые, полупрозрачные, с мокрыми розовыми носами. Они не плыли, они брели, как брели бы по пояс в траве, и тихо дышали паром. — А можно я немножко сам посижу? Я не исчезну. Мне тут не страшно.

— Тебя тошнит.

— Это не страшно, это просто тошнит.

— Зайцев, если ты исчезнешь над открытой водой, у меня будет час поисков. У меня нет часа. У меня есть пять суток.

Он посмотрел на меня круглыми голубыми глазами, которые на любом другом мужчине я сочла бы дефектом, и улыбнулся. Улыбка у него такая: начинается с ушей.

— Да я знаю, — сказал он. — Ладно. Просто спросил.

И перевернул ладонь, чтобы мне было удобнее держать.

Я хочу, чтобы вы это запомнили. Я запомнила только потом.

— Кирочка, — произнёс голос у меня на плече. Мадам путешествовала со мной, я не могла оставить вещь такого класса с матросами, которых нельзя пересчитать. — Позвольте заметить, с такого угла молодой человек выглядит как инвалид детства. На нём аляска. Сегодня плюс двадцать четыре.

Что он в ней прячет, прошлое?

— Здрасте, — сказал ей Тёма. Он с первого дня ей здоровался. Это её бесило сильнее, чем если бы он её пнул.

— Я не с вами разговариваю, молодой человек.

— Ага, — согласился Тёма. — А вы правда как квартира стоите? А в какой мурманской квартире? У нас на Шмидта двушка миллиона три. Это что, вас можно было обменять на двух таких, если бы у меня была такая, как вы?

На этот раз молчание длилось минут пять. Я видела, как у неё дрогнул замочек.

* * *

На четвёртый день одна из коров начала отставать.

Я заметила это только потому, что считала. Я считаю всё, что движется рядом со мной, такая привычка. Коров было девятнадцать, и они шли за кораблём по воде ровным строем, а эта, с рыжеватым пятном на боку, всё время оказывалась последней. Ставила левую заднюю как-то бережно, потом подбирала, потом опять ставила. Смотрела при этом перед собой с большим терпением. Коровы вообще ни на что не жалуются, поэтому их и едят.

— Она хромает, — сказала я боцману.

— Кто, барышня?

— Вон та. Левая задняя. Там, вероятно, что-то в копыте, у неё припухло над венчиком. Если не посмотреть, через два дня ляжет.

Клочок тумана на бушприте развернулся и поглядел на

меня, насколько может поглядеть клочок тумана.

— Так она ж корова, — прошелестел он. — Она туман. Ей ничего не будет. Ляжет, развеется, потом соберётся.

— Вы проверяли?

Он не проверял. Никто не проверял. В этой стране вообще ничего не проверяют, потому что всё и так будет хорошо. Я закрыла журнал. Я сказала себе, что это вопрос сохранности имущества, поскольку на этом твороге держится половина рациона экспедиции. Потом перелезла через борт, сделала себе под ноги небольшую льдину и встала на воду.

Корова остановилась и шумно на меня подышала. Вблизи она была высотой мне по плечо, белая, с просвечивающими рёбрами, и пахла мокрым сеном. Я положила ладонь ей на бок. Рука ушла по запястье, как в тёплую пену, и только там, внутри, наткнулась на что-то плотное, что, собственно, и было коровой. Я провела вниз по ноге. Корова вздохнула. Я взялась за копыто, подняла его, упёрла себе в колено, как показывают на четвёртой странице раздела «Крупный рогатый скот», и увидела осколок ракушки, вбитый между пальцами так глубоко, что вокруг уже всё горело.

Инструмента у меня не было, поэтому я вытащила его пинцетом для бровей.

Гной вышел сразу. Я промыла рану забортной водой и приложила к ней лёд, кусочек размером со спичечный коробок, очень чистый. Корова перестала дышать, а потом издала низкий изумлённый звук, какого в этой стране, думаю, никто

не слышал лет двадцать: звук существа, которому впервые в жизни стало холодно и от этого хорошо.

— Ты чего делаешь? — спросили сверху.

Над планширем торчала корона. Под короной были глаза.

— Ничего, — сказала я.

— Ты её лечишь?

— Я устраняю дефект.

— А она тебя не лягнёт? Она меня в тот раз лягнула, только насквозь. А ты доктор?

Я опустила копыто и вытерла руки о брюки. На белых брюках остались полосы, и я посмотрела на них примерно как на чужой почерк в своём отчёте. Со мной такого не бывает. Я не хожу с грязными руками.

— Нет, — сказала я. — Я не доктор. Лебедевы этим не занимаются. Ваше величество, вы никому ничего не видели.

— Я король, — согласился Миша. — Я всё видел. А можно я ей ещё ракушку поищу?

Вечером на моём подоконнике в каюте кто-то оставил миску творога. Я спросила, чей. Боцман сказал, что не знает, но что миска стояла там, а вокруг неё на палубе виднелся мокрый след, какой оставляет очень большое копыто, и что коровы на корабль обычно не поднимаются, поскольку не могут.

Творог я съела. Сводить подобные вещи в отчёт нет никакого смысла.

* * *

На пятые сутки перестало пахнуть ванилью.

Это случилось незаметно, а потом я подняла голову от журнала и поняла, что не хочу есть творог. Коровы отстали ещё утром. Они остановились все сразу, будто дошли до края пастбища, и долго смотрели нам вслед. Девочек Ира высадила в последней белой деревне вместе с пустым обещанием вернуться. Берег теперь шёл справа, низкий и голый, и галька на нём из розовой превратилась в просто серую. Небо по-прежнему светилось, но свет стал как в больнице: ровный, без теплоты.

Башня была прямо по курсу.

Я стояла на носу. Я не стала надевать ничего особенного, поскольку не собираюсь покупать для осмотра объекта отдельный наряд. Белые брюки, белый свитер, волосы в тугой низкий узел с резинкой, стрелки. На работу я всегда одеваюсь так, как будто меня могут снять для журнала.

Мне было холодно. Это я заметила с некоторым удивлением. Меня уже год как не брал мороз: на Неве я в феврале ходила в тонких перчатках, просто для вида. А сейчас я чувствовала холод кожей, но шёл он не снаружи. Это был холод пустой, как в доме, где ждали, что кто-то вернётся, потом перестали, а потом забыли отключить от сети.

Вблизи Башня оказалась огромной.

Я видела небоскрёбы. Папа хотел купить этаж в одном из них, но ему не понравилось, что наверху чужой. Эта штука была выше. Узкая и круглая, вся из белого камня, она росла

прямо из воды в миле от берега и уходила в больничное небо так далеко, что верхушки не было видно: Башня просто истончалась, бледнела и кончалась там, где глаз уставал. Трещины шли по ней от верха до низа, чёрные и ломаные. В самой большой из них, наверное, поместилась бы «Ласточка» вместе с дядей Толей и его мнением.

Туман лежал у подножия, как лежит тяжёлая собака у ног хозяина.

Вокруг него вода не перламутровая, а серая. И не тихая. Она вращалась медленно, широким кругом, а на границе круга волны вставали короткие и злые, без всякого ветра. По нашей стороне пролива туман-паруса, едва подойдя на полмили, задрожали и потекли.

— Дальше не пойду, барышня, — прошелестел боцман. Он съёжился на бушприте до размеров варежки. — Это наш знакомый. Мы с ним одной породы, только мы с ним не родня.

Паруса, лёгкие и белые шесть суток кряду, повисли, как простыни.

— Ну вот, — сказала Ника. Она встала рядом, на обе ноги, и я впервые видела её стоящей на обеих. Венка на ней не было. — Вот сюда мы и доходим. Я на лодке пробовала, лодка возвращается пустая. То есть я тоже возвращаюсь, но без лодки. Миша залез туда ещё тогда, но он король был, ему всё можно.

— Я и щас король, — сказал Миша из-за мачты. Я взгля-

нула на него: он стоял, вцепившись в канат, с очень белым лицом, и смотрел не на Башню, а на воду. Корона сползла ему на бровь, и он её не поправлял. — Не хочу тут. Она противная. Ника, пошли отсюда. Я тут уже был, я тут был в тумане. Пошли.

— Миша, иди к Ире.

Я оглянулась на Иру. Она стояла у самой кормы, как можно дальше от носа. Спиной. Ровно, как натянутая нитка, с поднятыми от плеча руками. Я не сразу поняла, что именно она делает. Она считала. Я видела её губы. Девочек не было, ноги у неё не двигались, и она стояла, подняв руки, повернувшись спиной к Белой башне, и считала в пустоту. Семьдесят три. Семьдесят четыре.

Я сверилась с журналом. До дня рождения Лизы оставалось трое суток с четвертью. Дорога назад шесть. Это я тоже посчитала ещё вчера, и ещё вчера посчитала, что не успеваю. Варианта было два: зеркало в белой деревне, где можно написать письмо, или Зайцев, который, если я его отпущу и он сильно обрадуется, может оказаться где угодно, включая, например, крышу ГИБДД.

Значит, сутки туда-обратно до деревни, и письмо дойдёт. С опозданием на день. Первый раз за четыре года.

Я поняла это ещё вчера, в девять вечера. Я тогда закрыла журнал, легла под сырой туман и уставилась в розовый потолок. Я не плакала. Я не плачу, это нерационально. Я просто лежала и держала Тёму за запястье, а воздух вокруг него был

совершенно спокоен, а внутри меня было Лизино «Я не дура, я знаю что значит плохая связь». Теперь я стояла на носу, смотрела на этот тяжёлый серый туман и понимала, что он сидит мне прямо под рёбрами, и, что особенно неприятно, удобно там устроился.

Меня всю жизнь ценят за то, что я ничего не чувствую на людях. Это, знаете ли, очень экономит.

— Отойдите от меня, — сказала я.

— Кир? — сказал Тёма.

— Все. На три шага. И ты тоже. Держись за мачту, Зайцев, пожалуйста, обеими руками, я сейчас не смогу держать тебя.

Я расстегнула рукава свитера. Сняла кольца, положила в Мадам. Мадам ни слова не сказала.

Я перелезла через борт и встала на воду.

* * *

Лёд, для тех, кто никогда им не занимался, это не холод.

Этому учит Борис Ильич на первом семинаре, а потом ещё полгода выбивает из первокурсников Шекспира, «Снежную королеву» и прочую ерунду. Холод это отсутствие. Его нельзя применить, как нельзя применить молчание. Лёд есть решение. Вода не хочет быть льдом: она двигается, она вечно занята, ей всегда есть куда идти. Ты подходишь и говоришь ей: нет. Стой. Здесь и сейчас ты никуда не пойдёшь. И либо она тебе верит, либо нет. Верит она только тем, кто говорит это так, как будто никогда в жизни не говорил ничего другого.

В этом смысле я училась с шести лет.

Под ботинками хрустнуло. Лёд пошёл от меня в обе стороны белой полосой, потом веером, и я пошла по нему вперёд.

Волны на границе круга всё ещё стояли. Я подошла к первой и положила на неё ладонь. Вода ударила в руку, мокрая и злая. Я сказала ей: нет.

Я не знала, насколько это будет много. Вы должны это понимать. Я выходила заморозить пролив шириной в милю, как положено по смете. Я сделала точный расчёт. Но в тот момент я не думала о миле. Я думала о том, что сижу в четыре часа дня с телефоном и мне семь лет, а мой отец занят. Что мне десять, я стою на школьном концерте в белых колготках, и в первом ряду стоит пустой стул с табличкой «Лебедев И. С.». Что мне девятнадцать, я открываю ноутбук, а там сообщение: «Потерпи, батя, контракт в марте закроем, и брошу её». Что Лизе исполнится одиннадцать через трое суток. А я на другом конце мира, по собственной воле и с графиком.

Я сказала: НЕТ.

Звук был такой, как если бы кто-то порвал большую простыню. Он ушёл от меня вперёд, и я видела, как он идёт: белая трещина бежала навстречу серому кругу, вода вставала и застывала прямо в воздухе, с гребнями и пеной, белыми хрустальными кружевами. Круг дёрнулся. Туман поднял голову. Я не могу сказать иначе, у него не было головы, но что-то в

нём поднялось и посмотрело. Лёд обогнул подножие Башни, сомкнулся за ним и понёсся дальше, туда, где за Башней, по общему мнению, ничего не было.

Там оказалось море.

Я стояла, вытянув руки. Я перестала чувствовать пальцы и не обращала на это внимания. За спиной кто-то кричал, и это, кажется, был король. Лёд летел вперёд, и его скорость уже ни от чего не зависела, он шёл сам. За Башней, за серым пятном, небо вдруг обрывалось. Не темнело, а обрывалось, ровной линией, как обрывается свет на границе софита. По ту сторону линии была ночь. Настоящая, чёрная, огромная, с мелкими острыми звёздами. Я не видела звёзд два месяца нашего времени. Под ней лежало море, тяжёлое, с медленной зыбью, а мой лёд бежал по нему с лёгким, почти музыкальным звоном, и море вставало, вздыхало и переставало.

Километр. Пять. Двадцать. Я не могла остановиться. Точнее, сейчас я могу сказать честно: я не пыталась.

Потом всё кончилось.

Кончилось как отрезанное. Звон ушёл за горизонт и не вернулся. Я опустила руки. Они не сразу послушались. Стояла тишина, такая полная, какая бывает только в люксе отеля, за который слишком много заплатили. Передо мной лежала белая равнина, вся в застывших волнах, уходила в полярную темноту и светилась там сама собой голубоватым светом. Морозный воздух входил в горло и пах чем-то, что я никак не могла определить: железом, рыбой, снегом.

Башня стояла посреди льда. Серый туман лежал у подножия. Он никуда не делся. Он съёжился, подобрал под себя края, но я его не заморозила. Лёд его обошёл, как обходит живое.

Это мне очень не понравилось, но заняться этим я не успела.

Я обернулась. «Корабль» вмёрз по ватерлинию. Он сидел во льду, наклонившись на левый борт, и туманные паруса на нём заиндевели и стояли жёсткими белыми полотнищами, очень красиво и, думаю, обидно для всех участников. На носу стояла Ника с открытым ртом. Рядом с ней Зайцев обнимал мачту, послушно, обеими руками и ногами. Рядом с ним покачивалась на планшире жёлтая сумка.

— Вау, — сказала Ника. Голос донёсся до меня тоненько и чисто. — Кир. Кирочка. Ты что наделала. Ты знаешь, сколько там моря?

Я подумала, что ответить. Я посмотрела на свои руки. По запястьям на коже лежал тонкий голубоватый узор, как на окне в январе. Он не таял, не болел и выглядел довольно дорого.

Лёд у меня под ногами стукнули снизу.

Стук был вежливый. Три коротких удара, как в гостинице. Потом что-то заскрежетало, и в трёх шагах от меня лёд вспух, треснул и разошёлся круглой ровной лункой. Из лунки в клубах пара поднялась голова.

Голова была размером с большой чемодан, тёмно-бурая и

морщинистая. Усы у неё были седые, густые и подстриженные, а бивни, два длинных и жёлтых, заканчивались аккуратными серебряными колпачками. На переносице блестело пенсне на цепочке. Голова фыркнула, стряхнула с усов воду и внимательно, не торопясь, осмотрела меня снизу вверх: кроссовки, белые брюки, свитер, стрелки.

Она достала откуда-то ласту. В ласте была зажата мокрая папка, прошитая бечёвкой, с сургучной печатью.

— Лебедева Кира Игоревна? — спросил морж хорошо поставленным старческим басом. — Я имею честь говорить с особой, которая в присутствии свидетелей, при ясном небе, по собственной воле остановила Студёное море от Белой башни до Медвежьих Кошек? Шестьдесят одна морская миля? Не разбивайте, пожалуйста, эту строчку, я записываю.

— Что? — сказала я. Я никогда не говорю «что». Я говорю «уточните». Это от неожиданности.

Морж вздохнул, глубоко и удовлетворённо, как человек, который двадцать три года ждал автобуса и вот наконец видит его из-за поворота. С немалым трудом он склонил голову к самому льду. Колпачки на бивнях звякнули. Пенсне сползло на кончик носа, и он придержал его ластой.

— Значит, с благополучным прибытием, ваше величество, — сказал морж. — Распишитесь в получении королевства. Вот здесь, пожалуйста, и на обороте.

Глава 3.

Тёма

. Путевой лист № 1

Путевой лист выдаётся водителю перед выездом. Там написано, куда едешь, на чём, сколько горючего, кто проверил тормоза. Без него на линию нельзя. Это мне папа объяснил, когда мне было пять. Папа у меня водит двадцать седьмой автобус в Мурманске тридцать один год, и по вечерам он заполнял путевые листы за кухонным столом, а я сидел рядом и рисовал на черновиках автобус с крыльями.

Варя сказала, что мне надо вести дневник, потому что Кира ведёт журнал, а Герман протоколы, а я тоже человек. Я сказал, что не умею дневник. Варя сказала: ну а что ты умеешь? Я сказал: я умею, если честно, только попадать не туда. Она засмеялась и сказала, что это тоже маршрут.

Поэтому вот.

Водитель: Зайцев Артём Сергеевич, 23 года.

Транспорт: я сам.

Тормоза: не проверял. Их нет.

Маршрут: Белоночье, город на холме, потом река, потом Башня, потом вообще непонятно.

Цель поездки: Кира едет разбить туман, а я еду с Кирой.

Остановка первая

Сначала, чтоб было понятно, про меня.

Я не хотел быть волшебником. Я вообще думал, что я больной. Когда мне было одиннадцать, у нас в классе была контрольная по математике, я её не решил, сильно испугал-

ся и оказался на сопке за Роста, в сменке, в минус восемнадцать. Шёл домой четыре часа. Маме сказал, что с уроков сбежал. Она меня ругала, а потом дала чаю, а потом я сильно обрадовался чаю и оказался в ванной у соседки.

С тех пор так и пошло.

Я никому не говорил. Что скажешь? Я всё время проверял, есть ли у меня в кармане деньги на автобус, потому что никогда не знаешь. Один раз я оказался на Абрам-мысе, один раз в Североморске, это закрытый город, туда нельзя, а я там сидел в кустах возле военного оркестра, пока они не отрепетировали. Один раз в Коле. На мурманском вокзале меня кассирша знала в лицо, думала, у меня такая работа. Папа говорил: «Тёма, ты какой-то неприкаянный». Он это не ругаясь говорил. Он сам такой, просто у него автобус.

А потом пришёл конверт, и я про него уже рассказывал, и дальше было про Институт, про Варю, про мост и про то, как меня чуть не стёрли. Это всё в другой книжке, там это лучше написано, потому что там Варя.

А Кира.

Я про Киру скажу отдельно, потому что Кира сама про себя всё неправильно рассказывает.

Я её увидел на экзамене. На мосту. Там стояли люди, все волновались, я в аляске, и вдруг мимо прошла она. Я таких раньше только в рекламе видел, и то не в нашем районе. Вся белая и светлая, с волосами цвета как шампанское на Новый год, и сумка, и глаза накрашены так ровно, как будто линей-

кой. На нас с Варей она посмотрела, как на чек из магазина. Я сразу влюбился. Я даже не стал себе объяснять, это как если зайти в воду в Баренцевом море: ты сразу понимаешь, что с тобой случилось, тут обсуждать нечего.

Я, конечно, понимал, что шансов нет. Я же не дурак. Я хоть и из Мурманска, но у меня калькулятор есть.

Но вот что я заметил, это в первый месяц ещё было. На лекциях она садилась в третий ряд, отдельно ото всех. И она всегда приносила с собой два карандаша. Один себе, а второй просто клала рядом. Никто никогда не просил. А на случай, если кто-нибудь попросит. Она так положит его, поправит, чтобы ровно лежал, и потом весь день пишет. А вечером забирает.

Каждый день.

Вот это я заметил. Никто не заметил, а я заметил, потому что я всегда смотрю, у кого нет денег на автобус.

Я один раз сел рядом и говорю: «Можно карандаш?» У меня была ручка, просто. Она посмотрела на меня так, что я чуть не оказался в Коле. Потом сказала: «Зайцев, на тебе аляска, сейчас плюс девятнадцать». И пододвинула карандаш. Вот он до сих пор у меня.

Я ей этого никогда не рассказывал, она меня убьёт.

Остановка вторая

Теперь про то, как она держит.

Прошлым летом, когда мы всё уже победили и целовались на мосту, я исчезал каждые четыре секунды. Хлоп, хлоп. Она

сказала: «Зайцев, это неудобно». А потом как-то взяла меня за обе руки и посмотрела. Просто посмотрела и держит. И я чувствую: надо исчезнуть, я так рад, что сейчас исчезну, у меня уже вот тут началось. А не могу. Это как когда в автобусе встаёшь, а он ещё едет, и тебя водитель так легонько на повороте придерживает. Только изнутри.

И я остался.

Ребята, я двенадцать лет исчезал. Я никогда ни одной вещи не досмотрел до конца. Ни одного фильма, я всегда на самом страшном месте оказывался где-нибудь в Оленегорске. Ни одного поцелуя, если честно, их было два, и я оба раза не успел узнать, чем кончилось. А она взяла и подержала. И я узнал, чем кончилось.

Вы не представляете, как это хорошо.

Поэтому когда на корабле меня тошнило, и она держала меня за руку, и красила ногти на одной руке другой рукой, и смотрела на меня строго, как будто у неё из-за меня горит квартальный отчёт, я сидел счастливый, как дурак. Я сейчас пишу и думаю: да, я был счастливый.

Просто иногда, совсем чуть-чуть, такое чувство, как когда у тебя нога затекла. Не больно. Ты просто вспоминаешь, что нога есть, только она вроде как не твоя.

Но это ерунда, это от качки.

Остановка дополнительная. По требованию

Кира рассказывает, что был один эпизод на крыше, про который она рассказывать не будет. А мне никто не запре-

щал.

Это было на первом курсе, в конце июля. Мы уже всех победили. Я уже месяц как был официально её парень, но верил в это только по понедельникам. Она меня пригласила поужинать. Сама. Сказала: «Зайцев, в субботу в восемь, оденься». Я надел аляску, потому что другой приличной вещи у меня нет.

Ресторан был на Мойке. Там такой вход, что я сначала решил, что это банк. Дядька на дверях посмотрел на меня и сказал: «Доставка со двора». Кира вышла, посмотрела на него, и он как-то сразу вспомнил, что у него дома дела. Нас посадили. Мне дали меню, в кожаном переплёте, толще, чем наш учебник по перстам. Я открыл. Там справа стоят цифры. Я подумал, что это номера страниц.

Это были не номера страниц.

Вы поймите, у меня была с собой тысяча сто рублей. Я её два месяца откладывал. Я весь вспотел. Вот это вот «Салат из томатов» стоит как у нас мама за квартиру платит. И я сижу и думаю: помидор. Обычный. Я быстро считаю, потому что всю жизнь считаю на автобус: если я возьму воду, а Кира, допустим, только салат, то мне не хватит на сто шестьдесят рублей, и можно часы оставить в залог, только они «Ракета», папины.

Кира говорит:

— Что будешь?

Я говорю:

— Воду. Я, это, не голодный.

Она посмотрела на меня. Посмотрела в меню. Она вообще очень быстро всё понимает, поэтому у меня от неё всё время чешется спина.

— Зайцев, я плачу, — говорит. — Я тебя пригласила. Это нормальная деловая практика.

И вот тут я не знаю, что со мной случилось. Я никогда ни с кем не спорю. Я вообще всегда соглашаюсь, потому что у других лучше получается думать. А тут у меня стало горячо в ушах, и я сказал:

— Нет.

— Что нет?

— Я не буду, чтобы ты платила. Я, понимаешь, не потому что. Просто все же с тобой из-за этого. Ты сама рассказывала. А я не хочу, чтобы было непонятно. Пойдём, я тебя сам накормлю. У меня тысяча сто.

Она долго ничего не говорила. У неё тогда лицо было такое, как у человека, которому предложили рассчитаться ракушками. За соседним столом дама уронила вилку. Потом Кира очень аккуратно положила салфетку и встала.

Я её повёл на Сенную. Там у меня есть место, шаверма у дяди Рафика, сто девяносто с большим количеством всего. Мы ели стоя, у ларька, возле урны. Она держала её двумя пальцами, в перчатках, как держат гранату, и по перчатке тёк соус. Она откусила. Закрыла глаза. Потом сказала: «Господи, Зайцев, что это». Я сказал: это ужин, на здоровье. У меня

ещё осталось на автобус, на метро и даже на жвачку.

И она посмотрела на меня поверх этой шавермы. У неё на щеке был соус, вот тут, а она про него не знала, первый раз в жизни, наверное. И она засмеялась. Низко так, удивлённо. Сказала: «Ты больной. Мне за всю жизнь никто ничего не покупал».

Ну и всё.

Хлоп.

Я потом посмотрел по карте: это называется купол Смольного собора. Самая верхушка. Там под крестом есть такой узенький выступ, для рабочих. Был девятый час вечера, красиво ужасно, весь город видно. Я сидел и держался, и у меня в руке была половина шавермы. Вот я там сидел и понимал, что сейчас мне так хорошо, что страшно, а как только станет страшно по-настоящему, я, может, и улечу отсюда, а может, и не улечу. Там девяносто четыре метра. Я ждал. Я честно ждал минут сорок. Мне было не страшно, потому что перед глазами всё стоял соус. Вот такая обратная сторона. Я слишком счастливый, чтобы спастись.

Уже почти стемнело, когда я услышал снизу такой звук, как будто кто-то очень быстро расставляет на столе стаканы. Я посмотрел вниз.

По куполу шла лестница. Ледяная. Узенькая, прозрачная, ступенька нарастала за ступенькой, снизу вверх, из ничего, а по ней поднималась Кира. Без перчаток. В платье, которое стоит как наш дом. На каблуках. Лицо белое, стрелки

ровные. Мне кричали потом, что это было видно с Охты и что на следующий день в газете написали про необычное оптическое явление. Она поднялась до выступа, встала передо мной, вдохнула и начала.

Я не могу этого повторить. Там были цифры. Вероятность падения с такой высоты. Время реакции спасательных служб. Цена за квадратный метр купола, если я его проломлю. Там было про мою мать. Там было, что я безответственный, что я инфантильный, что если я думаю, будто она будет за мной бегать по всем культурным памятникам, то я очень ошибаюсь. Она говорила без единой запятой минут двадцать. Я сидел и слушал, с шавермой, и улыбался как дурак, потому что вы бы видели, как у неё тряслись руки. Вот она стоит на высоте девяносто четыре метра на ледяной ступеньке, отчитывает меня, а руки ходят ходуном, и она прячет их за спину.

— Это от кофе, — сказала она, заметив, куда я смотрю. — Я пью много кофе. Что ты улыбаешься? Дай сюда.

И взяла у меня шаверму. И съела. Всю. На кресте Смольного собора.

А потом взяла меня за руку и сказала, что сейчас мы будем спускаться и чтобы я даже не думал. И вот, собственно, про это она и не рассказывает. Там ещё минут двадцать мы не спускались. Я узнал, чем кончается.

Остановка третья

Про море я могу рассказать только с мачты, потому что

я был на мачте. Она сказала держаться обеими руками, и я держался. Руками и ногами. Я всегда её слушаюсь, у неё лучше получается думать.

Она вышла за борт в белых брюках. Я до этого видел её лёд много раз: как она на Неве замораживала дорогу, как у неё на уроках вода в стакане застывает и звенит. Красиво, я всегда хлопал. Борис Ильич всегда кричал: «Лебедева, пожалей стакан!»

Сейчас это было другое.

Я не умею такое описать. Был один раз, мы с папой поехали на его день рождения в Териберку, зимой, и там смотрели, как с берега идёт на море лёд. Папа сказал: стой тихо, Тёма, это большое. Вот такое. Звука почти нет, а у тебя в зубах звенит. И я посмотрел на неё: она стоит спиной, маленькая, руки в стороны, узел волос, в нём моя любимая дурацкая резинка. А перед ней от неё едет целое море. И мне, понимаете, не было страшно за море. Мне было страшно, что она там сейчас совсем одна. Что она оттуда никого не видит. Что я сейчас вот сижу на мачте, я слушаюсь, у меня обе руки заняты. И я не могу к ней подойти, хотя я единственный, кто вообще всегда может подойти куда угодно, это же моя единственная способность.

А потом я посмотрел за Башню и забыл, как дышать.

Там была ночь.

Настоящая ночь с настоящими звёздами. Я таких звёзд не видел с января. У меня в Белоночье всё время ощущение,

что кто-то забыл выключить свет в подъезде. Всем нравится, я понимаю, красиво. А я мурманский человек, у нас два месяца полярная ночь, ты вылезаешь утром, а над тобой звёзды, и воздух скрипит, и снег синий, и все идут в школу с фонариками на варежках. Когда я в Питер приехал, мне сказали, что я, наверное, рад, что у вас теперь света больше. Я сказал: да, спасибо.

А я, оказывается, всю дорогу скучал.

И вот оно там лежало. За Башней. Полярка, настоящая, чёрная, и пахнет оттуда снегом и рыбой, и у меня в животе такое случилось, такое вот большое, горячее...

Хлоп.

Остановка четвёртая

Я оказался на льду.

Не рядом с кораблём. Вообще не рядом. Я стоял на чём-то очень твёрдом, была настоящая темнота, надо мной Большая Медведица, а в аляске наконец стало нормально. Я первый раз за три недели застегнул молнию. Как же это было хорошо, если бы вы знали. У меня даже нос сразу склеился, как дома.

Сзади, далеко, стояла маленькая белая спичка. Это, значит, Башня.

Я подумал, что Кира меня убьёт. Она сказала «держись», а я не удержался. Я быстро проверил карманы: шоколадка, карандаш, сорок рублей, пустой путевой лист. Никаких автобусов не видно. Прислушался, думал, сейчас опять хлоп-

ну, но ничего, я был спокоен, это было как у себя в подъезде.

Тогда я заметил, что я тут не один.

Шагах в десяти от меня кто-то сидел на маленьком складном стульчике и смотрел в маленькую круглую дырку во льду. У него была такая меховая штука с капюшоном, настоящая, из оленя, расшитая, мехом наружу, и варежки, и из варежки торчала короткая удочка. Рядом стоял термос. Точно как у Вари, только в оленьем чехле. Он смотрел на лунку и не оборачивался. Это был дед, наверное. У него изо рта шёл пар, а из пара какая-то мелодия, вроде свистел.

Рядом с ним стояло ведёрко, и в нём кто-то шевелился. Это была рыба.

Я подошёл. Лёд был новый, скрипучий, только что сделанный, чистый, как тетрадка. Я, конечно, понимал, что это моя девушка его сделала минут пять назад. А дед уже сверлит и сидит.

— Здрасте, — сказал я.

— Здоров, — сказал дед, не оборачиваясь. — Не шуми, идёт. — Он подёргал удочку. — Двадцать три года ждал твёрдой воды. Двадцать три года на этом берегу без подлёдной, ты можешь это понять? Парень, ты рыбак?

— Папа рыбак, — сказал я. — И дед вроде. Он был моряк. А я так, езжу.

Тут он на меня посмотрел. Лицо у него было как кора, вокруг него белая опушка, а глаза маленькие и очень весёлые. Посмотрел на аляску. Поглядел, как она застёгнута, потом

как я стою, как засунул руки в рукава, а не в карманы, как все нормальные люди на морозе. Он посмотрел на мой нос. Подумал.

— А ты откуда такой, — сказал он, — правильный?

— Из Мурманска, — сказал я.

— Не знаю такого. Хорошее место?

Я подумал. Я про это много думал, когда люди спрашивают. Они обычно думают, что ты сейчас будешь жаловаться. В Институте все думали, что мне там плохо было. Я и сам говорил, что не хочу обратно.

— Там солнца нет два месяца, — сказал я. — Зато потом его два месяца есть без остановки, и все дураки. Рыба хорошая. Сопки. Автобус двадцать седьмой ходит. Папа водит.

Дед кивнул, как будто я ему сейчас всё правильно объяснил. Потом порылся за пазухой, достал кусок чего-то плоского, тёмного и сушёного и протянул мне.

— Держи, правильный, — сказал он. — Юкола. Садись вот на ведро. Королеву ждать будем.

— Какую королеву? — спросил я и сел. Откусил юколы. Она была твёрдая, как подошва, солёная, и у меня от неё из глаз потекли слёзы, потому что это была точно такая же рыба, как у бабушки на балконе. Такая вот рыба. Я год не ел настоящей рыбы.

Дед подёргал удочку и хмыкнул.

— Такая у нас теперь есть, — сказал он. — Новая. Сегодня море остановила. Первая за двадцать три года. Я думал,

будет бабка какая-нибудь, а по льду слышу, ходит легко. Молодая, значит, злая. Хорошо это. Злая долго продержится. — Он помолчал. — Ей только, парень, никто не сказал пока, что она теперь у нас и вообще за всё отвечает. Ну ничего. Сейчас Аполлинарий скажет. Он давно готовился. Папку вон достал.

Я перестал жевать.

Вы знаете, у меня есть опыт. Я за двенадцать лет много раз оказывался не там, где надо. Я очень хорошо знаю это чувство, когда ты стоишь у всех на глазах, а что-то вот сейчас начнётся и уже ничего нельзя сделать. Оно начинается вот тут, под ложечкой, и у него есть такой звук. Звук маленький. Это как будто водитель закрыл двери, а ты понял, что это был не твой автобус.

— А она знает про папку? — спросил я.

Дед посмотрел на меня весело.

— Никто никогда про неё не знает, — сказал он. — Садись, говорю. У тебя клюёт.

И правда, клевало.

Пройдено: не знаю сколько. Спидометра нет.

Горючее: шоколадка, юкола.

Замечания: нога больше не затекает. Странно. Надо будет потом спросить.

Глава 4.
В которой мне вручают долги

Я не расписалась.

Я хочу, чтобы это было занесено в протокол, потому что дальше я наделаю достаточно глупостей и мне нужно хоть что-то в активе. На льду, на минус тридцати, в кроссовках, с онемевшими пальцами, перед моржом в пенсне, я посмотрела на мокрую папку и сказала:

— Я ничего не подписываю без полного пакета документов. Кто вы, что это, кто уполномочил. И где мой молодой человек.

Потому что на корабле у мачты его больше не было. Я успела это увидеть, когда обернулась во второй раз: мачта есть, жёлтая сумка есть, Зайцева нет. Только маленький, ещё тающий в воздухе хлопок.

Морж приподнял голову, поправил пенсне и посмотрел на меня с таким выражением, какого я не видела с тех пор, как сдала папиному финансовому директору свой первый отчёт в двенадцать лет. Это была чистая профессиональная нежность.

— Двадцать три года, — сказал он негромко, в сторону, как будто докладывал кому-то невидимому. — Двадцать три года ни одного разумного вопроса. — Он снова обратился ко мне: — Аполлинарий Тихонович Вахрамеев, канцлер Зимней стороны, хранитель печати и казны. Уполномочен законом о Твёрдой Воде, статья первая, она же единственная. Документы все на Стылом Причале, двадцать шесть морских миль на норд-норд-вест. Молодой человек в аляске обнару-

жен на тридцатой миле, сидит с егерем Прокопием, ловит навагу, здоров. У него клюёт.

Я не стала спрашивать, откуда он это знает. Я потом выяснила: лёд проводит звук. Для тех, кто на нём живёт, он как телефонная линия.

— Вы можете сейчас отвезти меня к нему?

— Могу, ваше величество.

— Не называйте меня так.

— Как вам будет угодно, ваше величество, — сказал Аполлинарий Тихонович и вынырнул целиком.

Я, конечно, видела моржей. По телевизору. По телевизору не передаётся, что морж весит тонну с лишним и занимает примерно столько же места, сколько папин автомобиль охраны. Шкура у него была вся в складках, серая от старости, местами протёртая, как кожа на дорогом диване. Он кряхтя вылез на лёд, и лёд под ним даже не вздохнул, я хорошо работаю. К ремню у него на груди были пристёгнуты печать размером с тарелку, связка ключей и кожаный тубус.

Он издал негромкий свист. И из темноты, с той стороны световой границы, послышался звон.

* * *

Я должна описать, как я приехала в своё королевство, потому что больше такого не повторится, а Даня за такое видео отдал бы почку.

Из темноты подъехали сани. Обычные, деревянные, с высоким загнутым передком, с медвежьей полостью. В них бы-

ли запряжены четыре белых медведя. Каждый в сбруе с медными бляхами, каждый смотрел перед собой пустым взором очень усталого служащего. На передке сидела круглая серебристая нерпа в маленькой фуражке. Она глянула на меня, быстро отдала честь левой ластой и немедленно достала блокнот.

— Глафира, — сказал канцлер. — Запиши: её величество прибыли в девятнадцать сорок две. Одеты легко. Распорядись насчёт парки.

— Записала, ваше высокопревосходительство, — сказала нерпа тоненько. — Какие будут указания по соболю?

— Нет соболя, Глаша, — сказал канцлер с мягкой скорбью. — Девятый год нет соболя.

Я вернулась на «Корабль» на три минуты, хотя мне предлагали послать за вещами. Там я забрала Мадам, журнал и Нику.

— Ты куда? — спросила Ника. У неё был вид человека, который бежал за поездом и догнал, но поезд оказался другим. — Кир, это кто? Это откуда? Там же ничего нет, за Башней. Я тут пять лет сижу, я королева, мне бы сказали.

— Вот и выясним, кто и кому должен был сказать. Едем со мной.

— Не могу, я туда смотрю и у меня голова болит. — Она и правда щурилась на границу света и всё время прикладывала руку ко лбу. — Мне туда нельзя, понимаешь? Это как... Там темно. Я смеяться не смогу, у меня внутри уже как-то всё...

И Миша ревёт, а Иру надо снимать с кормы, она не отвечает. Кир, ты вернёшься? Ты разбила туман?

— Нет, — сказала я.

— Нет?!

— Лёд его не взял, — сказала я. — Он его обошёл. Я разберусь, почему. Сними отсюда свой корабль, он вмёрз, я его завтра выпущу. Зеркало в деревне работает?

— Работает...

— Тогда сделай для меня одну вещь. Найди ближайшее зеркало и отправь письмо.

Я написала его здесь же, на планшире, закоченевшей рукой. Я думала, что будет много. Я начала со слов: «Лиза, я не успеваю». Я посмотрела на это, зачеркнула. Написала: «Лиза. С днём рождения. Я опоздаю». Подумала ещё. Я не знаю, как пишутся такие письма. Меня никто не учил, а я получила их много. «С днём рождения, Кирюша, папа в Женеве, но подарок ждёт на столе». Они всегда были грамотные. Я хорошо знаю этот слог: вежливый и сразу понятно, что всё решено.

Я дописала: «Я не приеду к твоему дню рождения. Я обещала и обманула. Это не плохая связь, я просто поехала и не посчитала. В сумке подарок, он настоящий, Ника передаст как-нибудь. Кира».

Подарка в тот момент у меня, разумеется, не было. Я сунула руку в Мадам, пошарила в длинном коридоре, нащупала что-то круглое, вытащила и посмотрела. Это был лунный

камень размером с грецкий орех, просверленный, на тонком шнурке. Мадам кашлянула.

— Девочка клала в меня что попало, — сказала она. — Это всё-таки лучше, чем жук.

— Сколько он стоит?

— Милочка, здесь такие дают детям играть. А у вас за него купят небольшой завод.

Я подумала, что папа за такой подарок поставил бы мне пять с плюсом. Я завернула камень в письмо и отдала Нике. И я не буду говорить вам, что я при этом чувствовала. Я стояла очень ровно, вот что я при этом делала.

Потом я вернулась, села в сани и закрылась медвежьей полостью до подбородка. Глаша свистнула, четыре усталых служащих налегли на постромки, и граница света прошла надо мной, как проходит тень от моста.

Над головой открылись звёзды.

Такого я не ожидала. Я ожидала мрака и подвоха. Но было красиво, красиво так, что это даже раздражало. Небо лежало на нас чёрное, с такой мелкой алмазной россыпью, какая встречается только у по-настоящему старых денег. Вдоль края шла прозрачная зеленоватая полоса, медленно шевелясь. Лёд, мой лёд, светился снизу голубым. Звон полозьев уходил в обе стороны и возвращался.

Я вдруг поняла, что здесь можно спать. Это была первая спокойная мысль за шесть суток. Не обязательно надевать маску: можно просто закрыть глаза.

— Сидеть ровно, ваше величество, — сказал канцлер. Он ехал рядом, как-то очень быстро толкаясь бивнями и грудью, не отставая от медведей, и совершенно при этом не запыхался. — На Причале вас будут смотреть. Двадцать три года смотреть было не на кого.

На тридцатой миле мы подобрали Зайцева. Он сидел на ведре, в расстёгнутой шапке и с красным носом, а перед ним на льду лежали, мёрзло постукивая хвостами, сорок три рыбы. Старик в оленьей парке что-то объяснял ему про наживку. Тёма поднял голову, увидел меня, увидел медведей, и лицо у него стало такое, будто в его подъезд заехал цирк. Затем воздух вокруг него задрожал, и я быстро вылезла из-под полости и через весь лёд, в четыре шага, взяла его за руку.

Рябь пропала. Рука у него была горячая. И вот странно: он совсем не мёрз.

— Кир! — сказал он с восторгом. — Кир, тут настоящая навага! Ты бы знала!

— Зайцев, — сказала я. — Больше никогда так не делай.

Я не отпускала его до самого Причала.

* * *

Стылый Причал стоял на берегу, который двадцать три года был берегом незамерзающего моря.

Я заранее составила себе план города: дворец, площадь, ряды складов. Это был посёлок. Я видела такие в документах о вложениях в северные порты, когда папа думал купить кусок Арктики и передумал, потому что Арктика не отвечает

на письма. Длинный деревянный пирс с вмёрзшими сваями. Склады с просевшими крышами. Сотни две низких домов, полузанесённых, с жёлтыми окошками, откуда пахло дымом и рыбьим жиром. На холме возвышалась одна большая постройка, из таких же брёвен, с башенкой, с покосившимся флюгером в форме кита. Это и был дворец.

Вдоль пирса стояли все.

Я не знаю, сколько их было. Тысячи три, наверное, и молчали они так, как стоит в темноте зимний лес. Люди в оленьих парках мехом наружу, с широкими спокойными лицами и детьми на плечах. Старые моржи, рядами, как скамьи депутатов. Нерпы в фуражках. Белые медведи, стоявшие на задних лапах, с алебардами, которые выглядели как ровно то, что с них спросят. Песцы, сидевшие на бочках аккуратными столбиками. У всех в руках, лапах, ластах были маленькие жирники, плошки с жиром и фитилём, и этих огоньков было столько, что пирс выглядел как взлётная полоса.

Никто не закричал «ура». Никто не упал на колени. Они просто смотрели на меня: на белые брюки, на кроссовки, на узел с клубничкой.

Я встала в санях. Я умею стоять, когда на меня смотрят, это единственное, чему меня действительно научили бесплатно. Я держала спину. Левой рукой я держала Зайцева, а тот, бедный, всё ещё сжимал подмышкой навагу.

Маленькая девочка на плечах у какого-то бородатого мужчины показала на меня варежкой и сказала громко и

звонко в полной тишине:

— Мама, а почему она такая бледная? Она больная?

— Тихо, Лада, — сказала какая-то женщина. — Это королева. Они все такие.

Девочке было лет шесть. Я её рассмотрела: щёки в цыпках, нос, глаза, такие же белёсые, как у всех здесь. Кожа у неё была нехорошего, сероватого цвета, какой я видела у ребятишек только на старых благотворительных вечерах, на фотографиях. Я потом спросила. Здесь никто из детей никогда не видел солнца.

Никто. Они родились уже в темноте.

Я ещё ничего не решила. Я сообщаю это как факт. Просто девочка мне не понравилась. У меня было неприятное чувство, что я уже видела такое лицо у девочки, которая сидит в огромном доме в четыре часа дня и смотрит на дверь.

* * *

— Я кратко, — сказал Аполлинарий Тихонович. — Если позволите.

Было это в тронном зале. Этот зал был одновременно и бухгалтерией. Зал длиной метров сорок, бревенчатые стены, столбы, очаг посредине, а по стенам от пола до потолка шли стеллажи с папками, и на каждой висела бирка. На другом конце на помосте стояло кресло, вырезанное из китовой кости, с вытертым сиденьем. Его покрывал тонкий слой инея. Я села не в него, я поставила себе табурет у стола и пододвинула лампу. Зайцева напоили чем-то горячим, положили на

лавку у огня и укрыли шкурой. Он уснул мгновенно, держа мою левую руку и уткнувшись в неё лбом. Я поэтому сидела немного боком.

— Зимняя сторона, — начал морж, раскладывая перед собой карту, прижав её углы четырьмя пустыми чернильницами. — Обратная половина Белоночья. Как вы знаете...

— Я не знаю.

— Как вы не знаете, у всякого солнца есть обратная сторона. Солнце Белоночья не садится и не встаёт. Значит, там, где оно стоит, всегда светло. Значит, где-то всегда темно. Одно от другого неотделимо. Страна поделена Белой башней. Сюда, — ласта прошла по карте, — ходили за рыбой, за мехом, за китовым усом, за льдом для лимонада. Оттуда к нам за хлебом и за творогом. Мы, зимовщики, держали воду. Море замерзало раз в году, по нашему слову, и по льду шли обозы. Наш король, или королева, это всегда был тот, кто может остановить воду. Такой закон. Он же единственный. Правили тихо. Кому-то надо сидеть в темноте и считать рыбу, ваше величество. Кто-то всю жизнь именно этим и занимается, чтобы другие могли смеяться.

Он произнёс это без обиды. Как отметка в ведомости. Я знала нескольких людей, которые говорят таким тоном. Один из них заправляет половиной морских контейнеров страны и в прошлом году плакал на моих глазах, нюхая сирень.

— Затем пришёл туман, — сказал морж. — Двадцать три

года назад, по вашему счёту шестьдесят. Что-то случилось в Белой башне. Башня треснула. Море встало дыбом и больше не замерзало. Королева Айна вышла остановить его, да и не вернулась. Сын мал, наследника нет. Закон ничего другого не предусматривает. Обозы встали. Хлеб кончился. Белоночье забыло о нас примерно за четыре года. Вы, наверное, заметили, что там про нас никто не помнит. Там ни про что неприятное долго не помнят, у них от этого морщины.

— Чем вы питаетесь?

— Рыбой, ваше величество. Тем, что можно взять с берега. Дети цингой болеют. Теперь уже и дети этих детей.

— Кто правит сейчас?

— Регентство. Ярл Сигурд, сын покойного наместника, в настоящее время на северной заставе, завтра прибудет. Честный человек. — Он сказал это так, как врач сообщает диагноз. — А теперь, если позволите, о главном. — Он осторожно открыл тубус и вытянул оттуда длинный, узкий, плотный лист с красной печатью. — По состоянию на сегодняшний день вся Зимняя сторона со всеми её землями, водами, строениями, запасами и подданными находится в закладе.

Я выпрямилась.

Вот тут, должна сказать, мне стало почти хорошо. В первый раз с того момента, как я проснулась в этом месте. Творог и львы мне не по профилю. Закладные это по профилю. Я протянула руку.

— Кто залогодержатель? На какой срок? Под что брали?

Покажите первичку.

Морж молча посмотрел на меня поверх пенсне, потом поднял ласту и указал ею на стеллажи. На все стеллажи. На сорок метров бревенчатого зала от пола до потолка.

— Тысяча четыреста страниц только основного договора, ваше величество, — сказал он тихо. — Плюс приложения.

— Принесите лампу поярче, — сказала я. — И горячего. Можно жира, если другого нет. Глаша, заточите мне карандаш. Два карандаша.

— Сию минуту. Какие будут указания по...

— Господа, господа, — произнёс кто-то за моей спиной. — Зачем же так сразу. Зачем же глаза портить. Я всё могу разъяснить в устной форме.

У него был приятный, очень тихий голос. Как будто кто-то аккуратно провёл ногтем по краю листа.

Огонь в очаге не дрогнул, но запах в комнате изменился. Я почувствовала сургуч, мокрую бумагу и пыль из самых дальних ящиков. Аполлинарий Тихонович, весивший тонну с лишним, медленно снял с носа пенсне, положил его перед собой и опустил голову. Это был не поклон. Так собаки в Монако прижимают уши, когда видят ветеринара.

Глаша исчезла под столом.

Я обернулась, не вставая. У меня хорошая реакция на шаги за спиной. Шагов не было. На моём столе, на медной чернильнице, которой морж прижимал угол карты, сидел человек.

Я сказала «человек», потому что другого слова нет. Он был ростом с большую бутылку. Всё в нём было мелко, чисто и аккуратно. Маленькая круглая лысая голова, блестящая и чёрная, как только что поставленная точка. Узкое тело в чёрном сюртуке, длинное, изогнутое всё в одну сторону, сверху вниз, и переходящее внизу в тонкий хвостик, который он свесил в чернильницу и слегка болтал. Глаз я сначала не увидела. Потом он улыбнулся, и в самом верху головы приоткрылись две щёлочки, а в них было что-то очень внимательное.

Он был похож на запятую.

Я смотрела на него пять секунд и всё никак не могла вспомнить, где видела такое. Потом вспомнила. Год назад, на Пушкарской, у Вари на полке. Варя показывала мне те самые детские книжки и в четвёртой открыла на смешной картинке с подписью: «И даже господин Крючок ничего не мог с этим поделать!» Там был такой же. Только нарисованный и смешной.

— Господин Крючок, — сказала я.

Он просиял, сложив крошечные руки.

— Вы читали! Как приятно. Как редко. Поверенный по делам казны, нотариус и душеприказчик Его Величества короля Михаила Первого, и всего, что на его подписи стоит. — Он наклонил круглую голову, и я впервые рассмотрела в его руке крохотное перо с острым крючковатым кончиком. Он слегка постучал им о край чернильницы. Звук был де-

ликатный. — Какая вы молоденькая, какая строгая. Какая у вас замечательная подпись! Вы знаете, мне показалось, что я вас ждал. Вы ведь ещё не подписали, нет? Нет, я вижу, вы умница. Так вот. Всё очень просто, я не займу вашего времени. Король, изволите ли видеть, был мальчик живой, щедрый, ему было семь лет. Ему нравилось подписывать. Ставить крестик и рисовать корону. Он подписал мне однажды всё, что на обороте солнца. А теперь срок подходит. Девять месяцев ровно, если считать здешним счётом. Девятого числа девятого месяца от сегодняшнего дня, в час отлива. Всё это, — перо качнулось в сторону окна, жёлтых огней и Лады на плечах у отца, — будет обращено во взыскание и снесено. За долги, вы понимаете. Я ведь не зверь. Там такие проценты! Но если, конечно, вдруг найдётся законная королева, которая вступит в наследство со всеми обязательствами и пожелает договориться...

Он замолчал и чуть покачал хвостиком в чернилах. Ровно один раз.

Лампа на столе потрескивала. На лавке у огня вздохнул во сне Зайцев и сжал мне пальцы.

Я посмотрела на маленького чёрного человечка на чернильнице. На сорок метров папок. На иней на троне. Я взглянула на часы, которым не верила. Я подумала о том, что у меня через двое суток день рождения сестры, а через месяц зачёт. Я отсюда уезжаю. Завтра. Я выпущу корабль, разберусь с туманом и уеду. У меня есть договор с папой из четы-

рёх пунктов. Это чужое королевство, чужие рыба и долги, и я никому ничего не должна.

Я медленно взяла карандаш.

— Господин Крючок, — сказала я. — Вы мешаете мне читать.

Глава 5. В которой я торгуюсь

Я читала тридцать одну неделю. То есть так мне показалось.

На самом деле я читала трое суток, с перерывами на сон по четыре часа, и за это время выпила столько оленьего бульона с жиром, что от меня стало пахнуть как от хорошо смазанного сапога. Но в рабочем смысле это была самая полноценная работа за всю мою жизнь. Если вы считаете, что самое красивое в мире это Сикстинская капелла, то вы никогда не видели залог будущего урожая под обеспечение чужой подписи, оформленный семилетним ребёнком и сутягой с тремя столетиями практики.

Это был шедевр.

Я пытаюсь сохранять объективность. Этот человек был моим врагом уже к исходу первых шестидесяти страниц. Я восхищалась им, как восхищаются хорошим ножом, когда он уже в тебе. Вот как это выглядело.

Миша Ветров, король Белоночья, семь лет, любимец львов. Приходит к нему маленький смешной господин Крючок. В книжках он всё время судится с кем-нибудь за на-

ступание на тень, дети над ним хохочут. Приносит бумажку. Мол, вашему величеству нравятся карамельные ракушки? Кто же их не любит. Подпишите тут, ваше величество, и вам будут их привозить с Зимней стороны каждую субботу. Король рисует корону. В бумажке написано, что заказчик подтверждает право поставщика на удержание морских прибрежных промыслов в обеспечение поставки. Через неделю другая бумажка. Хотите, львы будут катать вас на спине? Хотите, день рождения каждый месяц? Хотите, чтобы никогда не садилось солнце?

Вот этот лист я прочитала трижды. Он был шестьсот двенадцатый.

Солнце в Белоночье не садилось не потому, что такова природа волшебной страны. В природе ничего такого не бывает. Солнце там стоит на одном месте потому, что ему сказали стоять. Мальчик в короне подписал бессрочное обязательство: «чтоб всегда было светло». А обеспечением под него стала вся обратная сторона. Крючок прямо и просто записал: за то, что там день не кончится, будет платить тот, у кого он не начнётся. Там, у зимовщиков, вечная ночь не была, как выразился морж, неотделимой от устройства мира. Раньше солнце ходило. Тихо, еле-еле, по кругу. Полгода тут, полгода там. Двадцать три здешних года назад, шестьдесят с лишним по нашему счёту, семилетний мальчик подписал бумагу, чтобы ему не было страшно.

Он не мог знать. Семь лет.

Лада, шесть лет, щёки в цыпках, родилась потому, что ему нравилось рисовать корону.

На третьи сутки я закрыла последнюю папку, положила на неё ладонь и некоторое время посидела так. Изо рта шёл пар. Рядом сопела Глаша: она уснула, положив голову на чернильницу, с карандашом в ласте. Канцлер сидел напротив, сложив бивни на грудь. Он не спал, кажется, никогда.

— Ваше мнение? — сказал он.

— Ничтожный договор, — сказала я. — Сделка с малолетним недействительна в любой юрисдикции, какую я знаю.

— Здесь юрисдикция Его Величества, — сказал морж, — который признан совершеннолетним своим же собственным указом. Лист сорок первый.

— Я видела. — Я помассировала виски. — Кто-то вообще пытался это оспорить?

— Королева Вероника, — сказал он, — ни разу не ответила ни на одно наше письмо. Я полагаю, ей их не передавали. Господин Крючок заведует там почтой.

Я кивнула. Я не удивилась. Я всё думала про восемь листов от Лизы, с числами и свинками, которые доехали до меня только потому, что Варя лично привезла конверт на такси. А сколько писем не доехало до детей Зимней стороны, пока они сидели тут и считали рыбу?

— Он сказал, что готов договариваться, — сказала я. — Почему? С его-то позиции, зачем ему торг? Срок подходит, он просто ждёт и забирает.

Морж долго протирал пенсне полой какой-то старой тряпицы.

— Ваше величество, — сказал он наконец, — я не знаю. За двадцать три года я этого так и не понял. Но я вам скажу, что заметил. Ему мало забрать. Ему надо, чтобы вы расписались.

* * *

Я не собиралась оставаться.

Я говорю это в третий раз, чтобы вы видели, сколько сил было на это потрачено. На четвёртый день утром, в условном утре, поскольку здесь оно ничем не отличалось от ночи, кроме запаха каши, я вышла на пирс, выдохнула в воздух кубик пара и сообщила регенту, что выпускаю корабль и убываю.

Регента звали Сигурд. Он приехал ещё накануне, ночью, на собаках, из какой-то заставы на краю карты. Я подняла глаза от папок, а он стоял в дверях и стряхивал снег. Большой. Не толстый, как папа, а большой, как большая дверь. Тридцать четыре года, тёмная борода, в которой справа шла широкая полоса седины, лицо обветренное и настолько спокойное, что хотелось проверить, живой ли. На вытертой куртке, расшитой некогда серебром, не осталось ничего, кроме следов от вышивки. Он посмотрел на меня, на папки, на Зайцева, потом молча, большими шагами, прошёл через весь зал, снял с крюка собственную огромную парку и положил на мой табурет.

— У вас губы синие, — сказал он. — Мне сказали, вы

читаете. Я подожду.

И ждал. Сутки. Сидел у огня и чинил упряжь.

Теперь он стоял рядом со мной на причале, и мы смотрели на темноту.

— Можно вопрос? — сказала я. — Вы мне присягнёте?

— Нет.

— Почему?

— Вы мне не королева, — ответил он. — Пока вы не подписали. Вы молодая женщина, которая заморозила наше море. За это вам спасибо. Как только вы уедете, оно вскроется, примерно через три недели, вы ведь не умеете пока держать на расстоянии. Но к этому времени мы успеем пройти на санях к Башне и привезти с берега четыре обоза леса. Этого раньше не было ни разу. Это двести домов на следующие девять месяцев. — Он говорил всё это медленно и с одной и той же интонацией. — Вы ничего нам не должны. Я не буду вас просить, я не буду вам льстить, и я не стану показывать вам детей. Это Аполлинарий Тихонович, наверное, уже показал. Он хороший канцлер.

Я посмотрела на него снизу вверх.

Мне очень много врали за мою жизнь. Со мной встречались из-за папиных контрактов. Со мной дружили из-за Куршевеля. Мне улыбались, мне делали комплименты, меня за глаза называли холодной стервой, а в глаза ангелом. В двадцать четыре года я хорошо знаю ту особую теплоту, с которой на тебя смотрят, когда от тебя что-то нужно. Я могу

определить её с двух метров, по движению бровей.

Этого не было. У него ничего такого не было. Этому большому бородатому человеку что-то было от меня нужно: нужно отчаянно, вопрос жизни и смерти трёх тысяч людей и всех, кто ещё придёт. И он стоял на морозе и не улыбался мне вообще.

Это, знаете ли, было поразительно приятно.

Нет, не то, о чём вы подумали. Вернее, я тогда об этом не думала. Просто как будто после шумного банкета кто-то дал мне стакан холодной воды.

— Я вас поняла, — сказала я. — Спасибо за парку.

За спиной у нас заскрипел снег. Зайцев бежал по пирсу, размахивая рыбиной, в аляске нараспашку, и за ним гурьбой бежали дети, человек пятнадцать, в том числе девочка Лада.

— Кир! Кир! Смотри, чего я им показал! — Он затормозил и шумно выдохнул. Лицо у него было счастливое, красное, очень мальчишеское. — Смотри! Здесь же никто фонарик на варежку не пришивает! Они всё с жирниками ходят и руки заняты! А у нас в Мурманске ребята на варежку катафот вешают и всё! Я им сейчас из банки показал, так Лада сразу поняла! Здрасте, — сказал он Сигурду и протянул свободную руку. — Вы, наверное, главный? Вы чего-нибудь ели? А то там дед Прокопий такой суп сделал. Кир, ты спала? У тебя под глазами вот такие.

Сигурд посмотрел на протянутую руку. Я видела, как он определил: маленькая, в цыпках, без всякого значения, по-

тому что её хозяин и понятия не имел, что перед ним регент. И большая обветренная лапа осторожно её пожала.

— Сигурд.

— Тёма. Я с ней.

— Я вижу, — сказал Сигурд.

Дети обступили нас. Лада подёргала меня за край парки. На варежке у неё висела круглая жестяная крышка, приколотая ниткой. Глаза были белёсые и серьёзные.

— А правда, что там, — показала она варежкой на юг, туда, где над спичкой Башни светлела узенькая полоска, — там, правда, всё время утро?

Я подняла глаза на полоску. Я, Кира Лебедева, вскрытый баланс, ноль эмоций, двадцать четыре года опыта. Я всю жизнь думала, что самое обидное, что можно сделать с ребёнком, это пообещать приехать и не приехать. Оказывается, нет. Самое обидное это сделать так, чтобы ему вообще не обещали.

— Правда, — сказала я. — Оно мне не понравилось. Там приторно.

Я пошла обратно во дворец.

— Глаша, — сказала я, входя. — Пригласите господина Крючка. И чаю, если здесь хоть раз в жизни видели чай.

* * *

Переговоры продолжались девятнадцать часов.

Если вы когда-нибудь будете торговаться с кем-нибудь из этой породы, запомните то, что мне сказал папа, когда мне

было пятнадцать: не бойся выглядеть жадной. Жадных не обманывают. Обманывают тех, кто торопится быть порядочным. Я заняла свой табурет. Я разложила вокруг себя всё: журнал, два карандаша, семь листов заметок. Зайцева я усадила рядом, потому что иначе он волновался. Рядом с чернильницей стояла Мадам. Господин Крючок устроился на краю стола. Он покачивал хвостиком и принимал всё, что я говорила, с огромным удовольствием, как принимают лакомство.

Позиция моя была такая.

Первое. Я не королева. Я физическое лицо, выполняющее работу в пользу третьих лиц. Я не наследую никаких долгов, ни солнца, ни рыбы.

— Тогда вы не можете подать прошение об отсрочке, — кротко сказал Крючок. — Лист девятьсот первый. Только законный суверен.

Хорошо. Статус: суверен по закону о Твёрдой Воде, но без признания обязательств предшественницы. Без присяги. С правом выхода в любой момент.

— Ах, милая, это невозможно. Лист девятьсот второй. Суверен несёт ответственность личным присутствием. Это, видите ли, старинная норма. Король живёт в королевстве.

Тогда вообще без присутствия. Управление через регента.

— Не может быть регента при законном суверене.

Тогда временное присутствие. Два месяца нашего времени. Два с половиной. Я предлагала. Он улыбался. Шло вре-

мя. Я встала, прошлась по залу, выпила чаю (это был не чай, но кто-то старался) и снова села. Я упёрлась в то, что вернуться домой я должна. Что я обязана. Что у меня учёба, сестра и договор с четырьмя пунктами, что без этого я не подпишу ничего, хоть он тут дохни со своими процентами.

На семнадцатом часу он вздохнул и слегка наклонил голову.

— Какая вы упорная, — сказал он с искренней теплотой. — Какая вы умница. А хотите, я вам скажу, как это делается у людей? В вашем мире. У служащих. У человека много обязанностей, он не может быть на двух работах сразу. И что ему тогда делают?

Я подняла на него глаза.

— Совмещение, — сказала я.

— Совмещение! — возликовал он. — Вот! Служба на условиях неполной занятости. Ну, или, как у вас на кафедрах, на половину ставки. Вы ведь сами писали ходатайство в прошлом году о лаборантской. Половину времени вы королева. Половину времени вы свободны и можете ехать, куда пожелаете, хоть домой, хоть на все четыре стороны, и никаких претензий. Присутствие суверена в размере одной второй. Законно. Я вам даже оформлю за так, по-дружески. А взамен... Что взамен? Да ничего! Я предоставлю отсрочку. Я согласен снизить проценты, чтобы вы смогли приступить. Сколько вы там просили? Я готов заморозить начисление на весь срок.

В зале стало очень тихо. Я слышала, как в очаге оседает полено.

Это было хорошо. Это было настолько хорошо, что у меня мурашки побежали по спине. Я проигрывала его листы один за другим и уже видела, что мне ничего не сдвинуть, а тут он сам, сам дал мне то, что я искала. Половина ставки. Значит, я еду домой, я вижу Лизу, я сдаю зачёт. Остальное время я разбираюсь с этим зверинцем. Есть право выхода. Начисление останавливается. А у меня девять месяцев на то, чтобы поднять эту богадельню, заработать на долг и найти дырку в договоре, а дырка всегда есть, я таких, как он, ещё не встречала, но встречала подобных.

Я знаю, что вы сейчас кричите в книгу. Я бы тоже кричала.

— Милочка, — сказала Мадам у моего локтя тихо.

Я не повернулась.

— Милочка, — повторила она. — Когда меня покупали, мне сказали: на эту сумку у нас очередь, но для вас, по-дружески. Дама за неё отдала мужа.

— Прочитайте вслух, — сказала я Крючку.

Он не заставил себя просить. Он вытянул откуда-то узкий чистый лист, встряхнул, и лист лёг передо мной на стол. Он был не бумажный. Я коснулась пальцем: лёд. Тончайшая пластина прозрачного льда, холодная, гладкая, ровно обрезанная по краям, и на ней уже проступал мелкий ровный почерк, чёрными чернилами, прямо внутри.

— По вашему обычаю, — сказал он. — На Зимней сторо-

не присяги пишут на твёрдой воде. Такой документ крепче пергамента, и его, изволите видеть, не подделаешь. Он ваш, он как ваша рука. Читайте, читайте, вы же любите.

Я прочитала. Я читала этот лист четыре часа и шесть раз: вперёд, назад, с конца, вслух, в обратном порядке, по одному предложению, как папа учил. Зачитала его Аполлинарию Тихоновичу, и тот шевелил усами и находил нестыковки. Убрала два абзаца. Переписала пункт об ответственности. Вставила право на регента. Вставила обязательство Крючка передавать почту. Вставила запрет на принудительный брак, потому что папа говорит, что во всех феодальных договорах кто-нибудь, да женится, и выиграла этот пункт только наполовину: брак не принудительный, но законный король обязан иметь рядом консорта к концу срока, просто из-за формы, и это я решила считать мелочью. Крючок уступал. Он уступал мне так легко, так радостно, что я чувствовала себя отлично.

Вы не поверите, как давно мне не было так хорошо.

Основной пункт, седьмой, был короткий. Это была старинная формула присяги Зимней стороны, ей лет шестьсот, Аполлинарий Тихонович подтвердил. Её произносила ещё королева Айна. Её нельзя было поменять, потому что она и есть закон. Это была единственная обязанность монарха перед морем, и она звучала так, с одной запятой, которую я очень внимательно посмотрела, и которая стояла ровно после первого слова:

«Заморозить, нельзя растаять».

— То есть я обязуюсь держать воду, — сказала я. — И не отпускать. На срок службы.

— Само собой, — сказал он. — Служебная обязанность. Сущая формальность.

Я перечитала. Запятая. Да. Логично. Мне это и в голову не пришло бы оспаривать, я им Студёное море стянула за пять минут со злости.

Я подняла глаза. Зайцев рядом со мной проснулся и смотрел на лист. Он ничего не понимал в договорах, всегда просто просил меня показать, где подписать за посылку.

— Кир, — сказал он. — Это хорошо? Ты домой поедешь?

— Поеду.

— И к Лизе?

— И к Лизе.

— И на зачёт? — Он поморгал и улыбнулся, но как-то отдельно от глаз. — Ну здорово. А это, значит, ты тут королевой будешь? На половину? А что там, что значит «половина»? Половину чего?

Я взглянула на Крючка. Тот склонил голову набок.

— Половину ставки, — сказала я. — Зайцев, это значит половину времени. Это обычная формула.

— А-а, — сказал Тёма. — Ну, ты лучше знаешь.

Он сказал это совершенно искренне и потёр нос. И я взяла перо.

Перо было маленькое. Крючок протянул его мне обеими

руками. Оно было холодное, с крючковатым кончиком. Чернила в нём не кончались.

Где-то сзади, у огня, встал и вышел из зала большой человек, который сутки чинил упряжь, потому что он не хотел мне мешать и не хотел меня просить. Я слышала, как за ним закрылась дверь. Я подумала о девочке с крышкой на варежке. Я подумала об тонкой, ровной подписи в левом нижнем углу, той самой, с которой я прошлым летом составила договор с папой. Я подписала этот лист, как подписываю всё: разборчиво, с датой, и поставила время.

Лёд принял чернила. Подпись медленно опустилась внутрь него, как уходит на дно монета, и встала там рядом с остальными буквами.

В ту же секунду жёлтый свет в окошках посёлка, казалось, стал ярче. На огромном кресле из китовой кости с тихим звоном осыпался иней. Глаша за столом ахнула. Аполлинарий Тихонович молча снял пенсне и, тонна с лишним живого веса, медленно склонил голову к полу. Откуда-то из темноты снаружи донёсся длинный низкий гул. Сперва я подумала, что это ветер. Потом поняла: три тысячи людей, моржей и медведей заговорили одновременно и негромко сказали что-то одно.

— Поздравляю, поздравляю, — сказал господин Крючок. Он уже складывал перо. Хвостик у него был совершенно чистым. — С вами очень приятно работать, ваше величество. По рукам. Я прямо-таки помолодел.

И уполз в чернильницу.

Я выдохнула и встала. Плечи затекли. В голове было звонко и пусто, как после удачного экзамена. Я сделала это. Девятнадцать часов и я его продавила. Отсрочка, право выхода, заморозка процентов. Папа заплакал бы.

— Ну, — сказала я. — Вот и всё. Зайцев, вставай. Ты чего так смотришь?

Он сидел на лавке у огня, смотрел мне куда-то под ноги и странно хмурил брови. На лице у него была какая-то неловкая растерянность человека, который заметил у вас на спине приклеенную бумажку и не знает, как сказать.

— Кир, — сказал он. — А это так и надо?

Я посмотрела вниз.

Огонь горел у меня за спиной, большой и яркий. По доскам пола от него тянулась через весь зал моя тень. Длинная, ровная и элегантная.

Узкая.

Я подняла левую руку. Тень подняла левую руку. Я подняла правую.

Тень стояла спокойно.

Я очень долго смотрела на это. И, разумеется, совсем не изменилась в лице.

Просто мне вдруг стало как-то прохладно. Как если бы вам забыли застегнуть половину пальто.

Глава 6. В которой я навожу порядок

Первый приказ по королевству я издала в шесть тридцать утра, и касался он моего расписания.

Шесть тридцать утра здесь ничем не отличалось от шести тридцати вечера. Но я велела повесить на башенку дворца колокол и бить в него по моему журналу. Шесть тридцать, подъём. Двенадцать, обед. Шесть вечера, конец работы. Половина двенадцатого, отбой. Зимовщики двадцать три года жили по принципу «поел, поспал, посмотрел на рыбу». Когда колокол ударил в первый раз, половина посёлка вышла на улицу в исподнем, решив, что опять что-то с морем. Когда он ударил в двенадцать, вышли снова, и выяснилось, что пора есть. Через неделю у людей перестали слипаться глаза в середине дня. Через две аптекарша Марфута пришла мне сказать, что впервые за много лет никто в её квартале не жалуется на тоску.

— Как вы догадались, ваше величество? — спросила она.

— Я не догадывалась, — сказала я. — Я не могу работать без графика.

Кратко о том, в каком состоянии я приняла хозяйство.

Население: три тысячи сто сорок человек, восемьсот моржей и тюленей, двести двенадцать медведей, неустановленное количество песцов, которые отказывались участвовать в переписи на основании какой-то грамоты. Казна: четыре бочки ворвани, сундук серебра с лицом королевы Айны, из которого за все эти годы вытаскивали только на похороны, и ключ от второго сундука, который никто не мог найти. Ак-

тивы: строевого леса ноль, зерна ноль, китового уса склады, мороженой рыбы столько, что у меня до сих пор при слове «навага» сводит скулы. Долг: я не буду называть цифру. Скажу только, что в нём была графа «за пользование солнцем», и она считалась в солнцах.

Кадры. О кадрах скажу подробнее.

Глафиру я забрала в секретари на второй день. Я никогда в жизни не встречала такого секретаря, хотя у папы работают лучшие в стране. Она стенографировала ластой, никогда не забывала ни одного поручения, спала по три часа в ведре с морской водой под моим столом и на любую просьбу неизменно уточняла, какие будут указания по соболю. Соболя не было, но она продолжала уточнять. Как я поняла к концу месяца, это была её форма надежды.

Аполлинарий Тихонович оказался гением, которому двадцать три года нечего было считать. Я принесла ему таблицу, расчерченную по столбцам: приход, расход, остаток, контрагент. Я показала, как считать движение денежных средств. Он посмотрел, снял пенсне и вытер глаз. Я решила, что у него простуда.

Медведи бастовали.

Я выяснила это не сразу, потому что медвежья забастовка внешне не отличается от медвежьей службы. Они стояли на постах, возили сани и смотрели в пространство. Просто на девятый день, когда я велела первому взводу перевезти лес от берега, взводный, огромный, с серой полосой на загривке

и медной бляхой номер семь, посмотрел на меня сверху вниз и произнёс гулким, невыразимо печальным голосом:

— Тарифная сетка, ваше величество.

— Что?

— Двадцать три года на одном довольствии. Мы, Потап Потапович, от лица трудового коллектива. У нас, ваше величество, семьи. Мы не требуем. Мы так, обращаем внимание.

Я помолчала. Прямо перед глазами у меня была бляха номер семь. Этот зверь мог снять мне голову лапой, как снимают кепку.

— Сядьте, Потап Потапович, — сказала я. — Глаша, блокнот. Какое у вас среднее довольствие в рыбе на голову и какую вы хотите индексацию?

Мы договорились к вечеру. Я никогда в жизни не вела настолько корректных переговоров. На следующее утро лес поехал с такой скоростью, что полозья дымились. Потап Потапович с тех пор кланялся мне при встрече и называл «наша хозяйка», а через месяц на мой день рождения медведи подарили мне лично выловленного палтуса с бантиком. Я ничего не говорила им про день рождения. Я думаю, это Зайцев.

* * *

Суд мне достался в наследство вместе с троном.

На третьей неделе Аполлинарий Тихонович положил мне на стол дело, толщиной с хороший кирпич, и сообщил, что по закону монарх является высшей судебной инстанцией, а

высшая инстанция не собиралась двадцать три года. Дело называлось «Тюлени против тюленей». Я решила, что это шутка. У меня тогда ещё было такое представление, что в этой стране бывают шутки.

Истцами выступало семейство Лахтаковых, ответчиками семейство Лахтаковых. В тридцатом году царствования Айны, задолго до тумана, два брата поделили родовую лунку. Лунка у них была одна, хорошая, с подходом рыбы, и делили её так: чётные дни одному, нечётные другому. Пока не наступил високосный год. Тридцать первого числа, после которого идёт первое, то есть два нечётных дня подряд, младший брат занял лунку два раза кряду. Старший подал иск. С тех пор умерли оба брата, их дети и половина внуков. Лунку двадцать три года назад смыло вместе с морем. Судились они уже не за лунку, а за то, чьи предки были правы.

Заседание я назначила на понедельник. Явилось сто шестьдесят тюленей. Они заняли весь зал, лежали на полу плотным блестящим ковром и громко дышали. Им казалось, что это суд, и поэтому каждый принёс с собой рыбу, на случай если заседание затянется. От обеих сторон выступал один и тот же представитель, маленький, очень аккуратный, сидевший на медной чернильнице.

— Я, изволите видеть, веду дело обеих сторон, — сказал господин Крючок, сияя. — Сорок восемь лет. Какие прекрасные клиенты. Они мне так доверяют. Ваше величество, вы знакомы с материалами?

Я была знакома. Я прочитала кирпич за ночь. В нём было девятьсот листов, и по каждому листу обе стороны заплатили Крючку рыбой. Рыбы за это время набежало больше, чем можно выловить из той лунки за тысячу лет.

— Встать, — сказала я.

Ничего не произошло. Тюлени не очень приспособлены для этого.

— Хорошо. Лежать. Истец, вы кто?

Поднялась усатая голова. Сообщила, что истцом является Лахтаков Гордей Сидорович, правнук старшей ветви.

— А на чётные дни вы что едите?

Голова подумала.

— Рыбу, ваше величество.

— Откуда?

— С той стороны, от Прокопия, у него сейчас хорошая лунка на семнадцатой миле. Мне её вон шурин показал.

— Какой шурин?

С другого конца зала поднялась голова номер два и слегка смутилась. Как выяснилось в следующие сорок минут, истец и ответчик были женаты на сёстрах, крестили друг другу детей, ловили рыбу в одной артели и каждый четверг вместе ходили к господину Крючку подписывать очередное прошение, потому что так делали их отцы. Спросить друг друга, зачем они это делают, им не приходило в голову. Это считалось бы неуважением к суду.

Я выслушала всех. Потом выровняла папку и встала. Ко-

рона сползла, и я поправила.

— Суд постановляет, — сказала я. — Первое. Лунка, являющаяся предметом спора, отсутствует в природе с момента вскрытия моря. Предмет иска утрачен. Дело закрыто за отсутствием предмета. Второе. Все гонорары, выплаченные поверенному за период после утраты предмета, то есть за двадцать три года, подлежат возврату сторонам, поскольку услуга не могла быть оказана. Расчёт прилагается. Глафира, огласите сумму.

Нерпа огласила. Сумма составляла четырнадцать тысяч пудов мороженой рыбы.

В зале стало так тихо, что я услышала, как в углу икнул маленький тюлень. Я смотрела не на него. Я смотрела на чернильницу. Хвостик в чернилах остановился, совсем ненадолго, на долю секунды. Потом щёлочки приоткрылись, и в них была чистая, почти материнская радость.

— Великолепно! — сказал господин Крючок. — Просто великолепно. Я подам апелляцию.

— Кому?

— В том-то и дело, — сказал он с нежностью. — Ваше величество, вы высшая инстанция. Апелляцию подать некому. Значит, решение вступает в силу. Рыбу я верну. Какая красота. Я шестьсот лет не проигрывал столь грамотно. Вы мне всё больше нравитесь.

Он выплатил всё в течение недели, до последнего хвоста. Я тогда сочла это большой победой. Теперь думаю, что он

просто разглядывал меня, как разглядывают на рынке хорошую лошадь: посмотрит зубы, проведёт по ноге и даст поторговаться. Рыбу я немедленно пустила в оборот.

С песцами вышло хуже.

Песцы отказывались участвовать в переписи на основании грамоты, выданной им прапрабабкой Айны. Я потребовала грамоту. Мне её доставил очень маленький песец, с виду лет двух, с таким выражением, какое бывает у младших партнёров московских адвокатских контор. В грамоте значилось: «Песцам быть несчитанными во веки веков». Больше ничего. Подпись, печать. Я спросила, чем вызвана такая привилегия. Песец объяснил, что когда их считают, их становится меньше, а когда не считают, их становится больше, это проверено, и что он не собирается это обсуждать.

Я человек упрямый. Я велела пересчитать склады, в которых они живут, и посчитать потребление рыбы на склад. Песец вежливо сообщил, что склады они уступят, рыбу возьмут со склада рядом, а посчитанная рыба также не подлежит учёту, поскольку была съедена несчитанным лицом. На следующее утро я обнаружила у себя на столе журнал с обгрызенными углами. Весь раздел «Население» был аккуратно съеден. На его месте лежал песец и спал.

Я подумала. Я взяла карандаш и написала в графу: «Песцы: да».

Эта запись сохраняется в государственной статистике Зимней стороны по сей день. Говорят, её изучают в Инсти-

туте как образец.

* * *

Главная сделка была настолько простой, что мне до сих пор неудобно.

Я вызвала Нику. Точнее, я написала ей письмо, а затем, поскольку Крючок теперь обязан был передавать почту, а я прекрасно понимала, как он это делает, отправила ещё и Зайцева, вернее, положила ему письмо в карман и стала думать о чём-нибудь радостном у него на глазах.

Ответ пришёл через день. Ника прилетела сама. Она не смогла перейти за границу света больше чем на полмили: сидела на льду в трёх шубах, белая как мел, с головной болью, в окружении каких-то весёлых девиц и львёнка, и орала мне:

— Кир, вау, это что, ты теперь тоже королева? Мы теперь как сёстры! Слушай, а зачем лёд?

— Ника, — сказала я и протянула ей лист. — Что вы пьёте летом?

— Лимонад!

— Из чего он у вас холодный?

Она моргнула.

— Он не холодный. Он тёплый. У нас всё тёплое. Там же солнце. Ты пила? Он как будто пьёшь суп из конфет. А что?

Я молча достала из мешка кусок льда, размером с кирпич, прозрачный и чистый. Положила его в её кружку. Подождала минуту. Отпила сама и протянула ей.

Ника сделала глоток. Я видела, как у неё застывает лицо.

У этой девочки всё лицо двигалось постоянно, и сейчас оно остановилось. Потом её глаза медленно наполнились слезами. Девицы за её спиной притихли.

— Кира, — прошептала королева Белоночья. — Это что? Что ты сделала? Почему мне хочется плакать? Я пять лет... я же пять лет ничего холодного. Я забыла, как это, когда зубы сводит. Гера же всегда пил лимонад со льдом... Сколько?

— Сорок обозов до следующего сезона, — сказала я. — С вашей стороны зерно, яблоки, строевой лес, ткань, лекарства. Творог ваш тоже возьмём, он противоцинготный, я проверила. С нашей лёд и рыба. Твёрдые цены, поставка по льду, вот контракт. Прочитай.

— Да я тебе и так...

— Ника. Прочитай. Никогда в жизни больше не подписывай, не прочитав. Особенно в этой стране. Ты знаешь, сколько на твоём солнце висит?

Она хлюпнула носом, вытерла его рукавом и посмотрела на меня серыми глазами своего брата. На одно мгновение я увидела, как там, глубоко, за всем этим батутом, сидит пятнадцатилетний ребёнок, который пять лет один тащит на себе страну и никому об этом не говорит, потому что он смешной.

— Сколько? — спросила она другим голосом.

Я рассказала. Она слушала, поджав ногу, и молчала. Потом прочла контракт, два раза, шевеля губами. Потом подписала. Первый обоз вышел к нам через четыре дня.

Я никогда не забуду, как его встречали. Триста саней, нагруженных мешками, с запахом яблок, пронёсшимся над всем пирсом, как духи над вокзалом. Я стояла на помосте в чужой парке и считала мешки. Дети не бежали за санями. Они стояли, все, смотрели, принюхивались и ничего не понимали. А маленькая Лада, у которой на варежке теперь висел катафот, подошла, не спеша, очень серьёзно, и когда один мешок прорвался и яблоко выкатилось на снег, подняла его. Понюхала. Лизнула. И спросила меня через весь пирс:

— Оно живое?

Я не ответила, потому что считала мешки. Просто в этот момент я сбилась со счёта.

Но вот что интересно. Я заметила кое-что. Я заметила это, потому что я замечаю всё и всё записываю. Я ждала. Я стояла над этими яблоками и ждала, когда у меня, простите, защиплет в носу. Вы понимаете, я не машина. Я знаю за собой такое: раз в три года, в кино, когда собака находит хозяина. И я уже почти приготовилась. Сейчас будет. Я выпрямила спину заранее.

Ничего не было.

Было хорошо. Я понимала умом, что это хорошо. Я отметила это в журнале: «Первый обоз, 312 саней, успешно». Вот примерно столько и было. Как будто фильм идёт на соседнем экране и звук доносится через стену.

В тот вечер я долго смотрела, как горит мой жирник, и на тень, которая уходила от меня по стене. Узкая, ровная,

она теперь всё время двигалась с небольшим запозданием. Левой рукой я могла ещё как-то с ней договориться. Правая её половина просто лежала на стене и никуда не шла.

Половина ставки. Половина времени. Я проверила текст ещё раз. Нигде не было написано, половину чего именно. Там было написано «половина присутствия». Я перечитала это семь раз, и там было очень много красивых оборотов, а я всё равно не видела, чтобы это где-либо расшифровывалось, и это, должна вам сказать, была моя личная ошибка: я просмотрела неопределённость в существенном условии. За такое папа оштрафовал бы на квартальную премию.

Я никому ничего не сказала. Что говорить? «У меня немного сократилась тень»? Я, в конце концов, отлично себя чувствую. Работоспособность выросла. Голова ясная, сон ровный, я перестала нервничать. Я за всю жизнь не была такой спокойной. Многие за такое платят психотерапевтам.

— Кира, — сказал однажды Зайцев вечером, повернув голову на подушке. — А ты сегодня смеялась?

— Что?

— Просто ты раньше фыркала так. Когда я что-нибудь. У тебя вот тут морщинка. А сегодня Потап Потапович в дверь не прошёл и застрял, все упали. А ты сказала: «Запишите расширить проём».

— Проём действительно надо расширить.

— Ага, — сказал он. Подумал. — Ну да.

Он лежал рядом, горячий, как батарея, и держал меня за

руку. Точнее, я держала его. За окном под полярным небом брёл куда-то по льду патруль, и звенело.

* * *

Я тут, кстати, всё время забываю сказать про щенка.

Я не хотела про это рассказывать. Но у меня такое правило: если умолчать о существенном обстоятельстве, договор можно оспорить, а я предпочитаю честный бухгалтерский учёт. На семнадцатый день после подписания, ночью, я пошла проверять склад мороженой рыбы, потому что Глаша мне сказала, что там недостача. Недостачи не оказалось. Зато за складом в сугробе кто-то тихо, очень тонко пищал. Звук был такой, как у дешёвого будильника, когда у него садится батарейка.

Я подошла.

Это был щенок ездовой собаки. Лапы слишком большие, живот вздутый, один глаз склеен. Кто-то его отбраковал, потому что он родился со слишком короткой передней лапой и в упряжке не потянул бы. Обычное дело. Я видела хозяйственные книги, тут отбраковывали по совершенно понятным, экономическим причинам.

Абсолютно разумно. Кормить его было незачем. В посёлке, где не хватало зерна людям, на такую собаку не тратят еды. Я бы сама так написала, составляй я тут регламент.

Лебедевы не лечат собак.

Я постояла там минуты четыре, потому что у меня было свободное окно в расписании. Потом огляделась, увиде-

ла, что никого нет, сняла парку, завернула в неё этот кусок дрожащего меха, принесла к себе, закрыла дверь, положила на стол и зажгла две лампы. Глаша подняла голову из своего ведра, посмотрела на меня, посмотрела на щенка и снова опустила голову. Мне очень нравился этот секретарь.

Я, знаете ли, в десять лет прочитала весь справочник ветеринара. Два раза. Перед сном, под одеялом, на том же планшете, с которого смотрела сериалы про пацанов. Мне тогда очень хотелось на ком-нибудь это применить, но у нас дома были только рыбки. Рыбки у нас стоили как внедорожник, и за ними приезжал специальный человек.

Я промыла глаз тёплой солёной водой. Я прощупала живот, нашла, что глисты, и вспомнила, чем их выводят. Сделала кашу, прибавила в неё то, что надо было прибавить. Он ел у меня с пальца, остервенело, с таким лицом, как будто я его обманываю. У него были острые и очень мелкие зубы. Потом лёг мне в ладонь и заснул, и его живот вздымался и опускался, и маленькие подушечки на лапах подёргивались.

Я сидела и смотрела. Он был тёплый, как будто в руке лежала только что сваренная картофелина.

И вот, поверите ли, ничего. Ни в носу, ни в горле. Я спокойно это отмечала: вот щенок, вот тепло, мило. Я записала в журнал рекомендации по дозировке. Правда, отчего-то, пока я писала, рука у меня, левая, сама собой накрывала его сверху, как если бы тут могло откуда-то дуть. Она у меня всю ночь там пролежала.

В шесть тридцать я встала и пошла работать.

Вечером я вернулась, и на пороге моей комнаты стоял Сигурд. Он был такой огромный, что коридор за его спиной не просматривался. В одной руке держал миску с требухой, другой чесал затылок.

— Я, простите, зашёл, — сказал он, и я впервые услышала, что он слегка затрудняется с формулировкой. — Глафира сказала, у вас в комнате... Это вот ему. Он будет много есть, через месяц вообще-то как телёнок. Короткая лапа это ничего. Это он на ней научится. Я бы взял себе в сани на последнее место.

— Я не понимаю, о чём вы, — сказала я. — Это временная мера.

— Да, — сказал Сигурд. Он наклонился и поставил миску у двери. И что-то случилось с его глазами, какая-то едва заметная перемена, как будто на обветренном лице чуть сместились две складки. — Как его зовут?

Я помолчала.

— Ликвидность, — сказала я.

Он кивнул с полной серьёзностью и ушёл.

Вы не поверите, но эта собака действительно откликается.

* * *

С письмами всё было точно по расчётам.

Я заранее разметила их в журнале: четыре часа по воскресеньям, по новому внутреннему счёту. Я аккуратно писала каждый здешний третий день: каждые три наших дня это

примерно одна неделя там. Коэффициент два и шесть. Через Крючка, у которого теперь было обязательство, и через Зайцева для контроля. Я заранее считала, какое там число. В журнале теперь шли две колонки.

«Лиза. Сегодня у тебя 19 сентября. Ты, наверное, уже в пятом классе. Камень надо носить на шнурке, он не от сглаза и не для красоты, просто он красивый. Я заморозила море, и из-за этого я королева. Это долгая история. У меня есть щенок, но это не точно. Я приеду в начале лета, я посчитала, это будет первая дверь. Я обязательно приеду. Я записала. Кира».

Ответы приходили, и каждый ответ, который я держала в руке, был уже старый. Вот что я долго не могла привыкнуть принимать во внимание. Я написала ей вопрос про свинку и получила ответ на него через четверо моих суток. Там прошло почти две недели. За это время свинка уже успела выздороветь, Лиза успела получить тройку, исправить, и ей уже было неинтересно об этом говорить.

«Кира, спасибо за камень, папа отвез его показать какому то дяде и потом долго сидел. Я его ношу. Девочки думают что это стекло и я не говорю. Я не злюсь. Мне просто надо было это сказать один раз. Лиза».

Почерк у неё стал мельче.

«Кира, у Вари родилась девочка! 11 октября! Она орала как чайник, и в роддоме все лампочки стали розовые. Ее зовут Анюта. Варя говорит что ты теперь крестная, потому что

Ника уже записала себя и ты должна быть хоть чем-то. Я ее держала. У нее такие ногти, как будто нарисованные. А Зиновий орал, что надо творог. Я теперь хожу к ним по субботам. Это ничего? Я просто спрашиваю. Лиза».

Одиннадцатое октября.

Я сверилась с журналом. По моему счёту с подписания не прошло и трёх недель. Варя, которую я считала беременной, которая должна была ещё месяцами ругаться, что не завязываются кеды, родила. Я написала ей: «Поздравляю. Я очень рада. Вес, рост, кто оплачивает?» Перечитала. Прибавила: «Обнимаю». Подумала, что это звучит как-то по-английски. Вычеркнула, потом написала обратно.

И долго сидела с пером. Там, за Башней, там сейчас шёл октябрь, в Петербурге лил дождь, и Варя смеялась на Пушкарской над чем-то, чего я никогда уже не узнаю, а у неё на руках лежала девочка с нарисованными ногтями. Мне, знаете, хотелось бы вам сказать, что мне стало больно. Это звучало бы по-человечески. Но я просто сидела, и в голове у меня щёлкал счётчик. И вот этот щелчок был единственным, что я могла расслышать.

* * *

Ещё я должна упомянуть про кольцо.

Это произошло в начале второго месяца, когда мы принимали посольство моржей с Медвежьих Кошек. Для зимовщиков это важно: я согласилась провести приём в полном виде, с чтением грамот, с троном, с короной, которую Апол-

линарий достал из тубуса. Корона была из моржовой кости и весила как ведро, поэтому я заказала вариант полегче. Зайцев сидел по левую руку от меня на табурете, куда я его посадила, потому что к тому времени у него уже было какое-то положение. Он наладил нам курьерскую почту, причём не по собственной воле, просто он всё время туда попадал. Зимовщики считали его своим. Они кормили его, не спрашивая, и обращались: «Правильный». Он был в восторге. Он всё время где-то ходил.

Вот только когда посол, старый морж с обломанным левым бивнем, в тишине, в очень торжественный момент поднял ласту, чтобы подать мне верительную грамоту, какая-то маленькая песцовая девочка в зале пискнула: «Ой, смотрите, какие усы!» И Тёма фыркнул. И обрадовался. И я почувствовала, как воздух слева от меня дрогнул. Обе руки у меня были заняты: корона на голове, грамота, скипетр, всё как положено.

Хлоп.

Он появился через семь секунд. На голове у посла.

Я не хочу это описывать. Позвольте мне просто сказать, что до этого у посла был обломан один бивень, а теперь их стало два. Что за шестьдесят морских миль от Причала стояли три тысячи союзных моржей, с которыми я рассчитывала на рыбный договор. Что в течение следующих двух часов я не менее семнадцати раз извинялась самым официальным образом и подарила послу двадцать бочек ворвани из моих

единственных четырёх, плюс долговая расписка.

Я не кричала. Я уже как-то совсем не умела кричать. Я только зашла вечером к нему, он сидел на кровати, ещё весь красный, в аляске, с огромными несчастными глазами.

— Кир, я...

— Я знаю, — сказала я. — Дай руку.

Я взяла его левую руку. Я долго думала, какая. Безымянный палец показался мне уместным. Я взяла его палец в кулак, подержала и сказала воде, которая всегда есть в человеке, очень ровно и коротко то, что всегда говорю: нет.

Когда я разжала ладонь, на пальце у него было кольцо. Тонкое. Прозрачное, голубоватое, с очень чистым краем. Я, если честно, им гордилась: лёд без единого пузырька, толщиной в полтора миллиметра, такого не сделает ни один старшекурсник. Оно не таяло.

Тёма поднёс руку к глазам. Лицо у него стало растерянное и очень красивое. Так смотрят дети, когда им ни за что дали подержать настоящую медаль.

— Это чего? — прошептал он. — Кир. Это... Это ты мне, что ли?

— Теперь у меня будут свободны обе руки, — сказала я. — Оно работает так же, как когда я тебя держу. На расстоянии. Я проверила на Ликвидности.

Он моргнул.

— На собаке?

— Ошейник, в смысле. Там такой же принцип. Не важно.

Это для твоей безопасности. Ты больше не будешь падать на послов. Нравится?

Я видела, как он сглотнул. Потом как он повернул кольцо к лампе, посмотрел через него на свет и наконец улыбнулся, начиная с ушей. Он всегда так делает.

— Красивое, — сказал он. — Очень. Спасибо, Кир. Такое никто больше не сделает.

Он обнял меня. Я постояла в этих объятиях сколько положено. Потом, проверив журнал, я ушла работать, потому что у меня ещё было на сегодня двенадцать бумаг. Я сделала что-то правильное и очень эффективное, и у меня наконец были свободны обе руки. На лавке у дверей посапывала Ликвидность, положив короткую лапу на длинную.

— Милочка, — раздалось с полки. Мадам долго ничего не говорила в тот вечер. — Вы знаете, я в свою бытность много видела ювелирных изделий. Мне показывали такие браслеты, вы не поверите. С замочком. На очень хороших женщинах.

— Вам не нравится работа?

— Работа, — ответила она сухо, — безупречная.

И больше в тот вечер со мной не разговаривала.

Глава 7.
Тёма
. Путевой лист № 2

Водитель: Зайцев А. С.

Транспорт: я сам, с кольцом.

Маршрут: Стылый Причал, потом почта на Кошки, потом вообще не по маршруту.

Цель поездки: не было цели. Я даже не собирался.

Остановка первая

Я должен сказать, что мне тут очень нравится.

Я понимаю, что это странно. Кира работает с шести тридцати до половины двенадцатого, у всех цинга, всё пахнет ворванью, а я хожу и радуюсь. Но вы поймите, я всю жизнь был тот, кто не там. На Институте я был тот, кто на люстре. В Мурманске я был тот, у кого сын неприкаянный, ну то есть мой папа. А тут я вышел на улицу на третий день, и ко мне подошёл мужик, большой, в парке, посмотрел, как у меня шапка завязана, и говорит:

— Правильный, у меня в сарае лодка пропадает, глянешь? Дед Прокопий сказал, ты в моторах понимаешь.

Я в моторах понимаю. Я у папы в гараже вырос. Я, конечно, сказал, что в лодочных мало, а он сказал: ну и я мало. И мы пошли.

Они меня здесь зовут Правильный. Не потому что я правильно живу, а потому что правильно одеваюсь, правильно хожу по льду, не падаю и не спрашиваю, почему темно. Им понравилось, что я не спрашиваю, почему темно. Они от всех приезжих этого боятся. Тут ещё бабка одна, Настасья, спросила меня, как я жил, и я ей рассказал про Мурманск, про то, что у нас солнце уходит в начале декабря, а в январе

все идут встречать его на сопку и там блины. Её аж затрясло, она позвала соседку, чтобы я ещё раз рассказал. Потом ко мне ходили человек двадцать послушать про блины. Я им показал, как на варежку катафот пришивать, как печку через колено топить, как у нас ребята в школу с фонариками. Они всё это слушают, как в кино. Потому что про них никто никогда не говорил, что вот так можно. Что темно это не наказание. Что можно жить, просто жить, ходить на работу, и что в этом ещё и красиво бывает.

Кира, между прочим, тут просто чудо. Я горжусь ею, как дурак. Вы бы видели, как она разговаривает с медведем. Он её в четыре раза больше, а она смотрит на него снизу, и видно, что ему неудобно. Она спасла им всю жизнь за шесть недель. Там реально, знаете, уже у ребятишек щёки другие от яблок. Я ей говорю: ты понимаешь, что ты сделала? Она говорит: я подняла оборачиваемость.

Она какая-то стала спокойная.

Я не жалуюсь. Просто я заметил.

Остановка вторая

Теперь про кольцо.

Оно очень красивое. Я всё время на него смотрю. Мне никто никогда ничего такого не дарил. Мне, если честно, девушки вообще ничего не дарили, кроме одной в девятом классе, она подарила мне открытку на двадцать третье февраля, но она всем подарила.

Кира сделала его сама, своими руками, из меня. Понима-

ете, как это? И оно работает. Я третью неделю не хлопнул ни разу. Я вчера сидел на причале, мне Лада показала, как она сама варежку подшила, и так мне стало хорошо, вот здесь вот, прям горячо, и я уже сжался и думаю: ну всё, сейчас окажусь на крыше. И не оказался. Сижу. Лада на меня смотрит. Я сижу и улыбаюсь. Вот так можно, оказывается. Вот как все люди живут.

Я начал смотреть один и тот же фильм до конца. Тут есть такой дед, у него картинки на стекле, он их показывает через лампу. Двадцать минут. Я досидел.

Я сильно потолстел. Ну то есть не потолстел, просто раньше я всегда всё терял, а теперь у меня в карманах всё на месте.

А ещё я не очень хорошо помню, какая дорога на Кошки.

Вот это смешно. Я туда уже три раза попадал, всегда случайно, я хорошо чувствую, куда меня несёт, это как... ну, я такого никому не рассказывал, потому что глупо звучит. Вот когда ты стоишь на месте, ты всё равно чувствуешь, где что находится. Мурманск вон там, за спиной, далеко и немного вниз. Питер вон там. Мама. Где Кира, я вообще всегда знаю, это как зуб. И вот эти ниточки, они как бы всё время натянуты, и я всегда думал, что так у всех. И когда я хлопаю, я по ним как будто еду. Я просто не умел рулить.

Варя мне говорила: это твоя дорога. Твой источник. Ректор говорил: тоска по дороге, которой нет.

Так вот. Я вчера утром проснулся и стал проверять. Ну

просто так, как проверяешь, ключи в кармане или нет. Мурманск. Он там. Но как будто через ватник. А Питер вообще не очень.

Может, это от сырости.

Я Кире не сказал, ей и так работы. Я просто теперь хожу на Кошки пешком. Двое суток с собакой. Ничего, полезно.

Остановка третья

А это случилось в январе. Я тут так теперь считаю: есть счёт здешний, где у Киры всё в журнале, а есть мурманский, это когда на два с половиной умножаешь, у меня на этот счёт бумажка. Ну так вот, по бумажке был январь, а по журналу всего второй месяц. Кира написала, что с нового года Лиза пошла в какую-то новую школу. А я подумал: двенадцатое января.

У нас в Мурманске солнце возвращается одиннадцатого января. В смысле, из-за сопок его видно примерно в середине месяца, но Праздник Солнца всегда позже, с блинами. А вот двенадцатого мы с папой всегда ездили на сопку смотреть. С тех пор как я маленький был. Просто так, без блинов, без всего, вдвоём. В десять минут первого по папиным часам вон там, над заливом, появлялось такое. Даже ещё не солнце. Как будто кто-то в соседней комнате включил свет и дверь немножко открыл. Минуты три. А папа всегда говорит одно и то же, он говорит: «Ну вот. А ты боялся». Я не боялся никогда. Это у него шутка такая. И мы шли обратно, потому что у него смена.

Я про это, наверное, раз сто подумал за этот день.

Я стоял на причале, дел особых не было. Я про папу вспомнил, какие у него варежки, с дыркой на большом пальце. У него одна и та же дырка двадцать лет, мама зашивает, а она опять. Про то, что он там сейчас, наверное, собирается, смотрит в окно, а меня нет, я второй год уже у них не был. Сейчас он наденет шапку, скажет маме «ну я пошёл». И что-то такое мне вдруг сделалось, причём не радость, и не страх. Я такого не знал. Я стою, кольцо у меня на пальце вдруг холодное стало, очень холодное. Как будто тебя схватили за палец и говорят: нет. А я говорю: да подожди ты. Ну пожалуйста. На три минуты.

Я не знаю, как это сказать.

Хлоп.

Остановка четвёртая

Это был первый раз за месяц. Я упал лицом в снег и не сразу встал, потому что палец болел так, будто его дверью прищемило. И ещё в ушах звенело, и из носа шла кровь, ну немножко. Раньше такого не бывало.

Я перевернулся на спину.

Сопка. Настоящая. Сосенка кривая, на которой всегда висит чья-то варежка. Внизу огоньки. Залив как чёрная полоса, и портовые краны стоят. И атомный ледокол на причале стоит, и вон там, далеко, Алёша, каменный, с автоматом. И мороз такой хороший, минус двадцать, с ветерком.

И на тропинке, метрах в двадцати от меня, стоит мужик в

старой форменной куртке с поднятым воротником, спиной ко мне. Смотрит на залив.

Он посмотрел на часы.

Я тоже посмотрел. Туда. За залив. Там было ещё темно, а потом вдруг стало как будто кто-то в соседней комнате.

Минуты три.

Я лежал и не дышал. Я думал, что, если я двинусь, снова выкинет. Я прям почувствовал, как кольцо тянет. И я лежал весь в снегу, с кровью на губе, и смотрел с папой вместе, как он не знает. А потом краешек погас.

И он сказал вслух, сам себе, негромко:

— Ну вот. А ты боялся.

Я встал.

Он повернулся. Я не знаю, что он подумал. Сын стоит посреди сопки, в снегу, с разбитым носом, в той же аляске, в какой уехал. На другом конце страны должен быть, на программиста учиться. Он посмотрел. У него лицо такое, тяжёлое, он ни разу в жизни ничему не удивился, даже когда я в шестом классе оказался у него в автобусе прямо на ходу, между сиденьями, и бабка заорала. Он тогда просто посмотрел в зеркало и сказал: «За проезд передай».

Он и сейчас сначала посмотрел на меня, потом на тропинку, по которой никаких следов от меня не было. Потом снял варежку, ту самую, с дыркой. Подошёл и вытер мне нос.

— Опоздал, — сказал он. — Уже всё. Пошли, а то у меня смена в час.

Вот и всё. Вот так мой папа.

Я не буду говорить, что я плакал. Я могу только сказать, что там ветрено на этой сопке.

Остановка пятая

Я был дома шесть часов. Пока папа был на смене, я сидел на кухне.

Мама сказала, что я похудел и что программисты, значит, плохо питаются. Она напекла за час столько, что я не мог встать. Я ей сказал, что учусь нормально. Она спросила, есть ли у меня девушка, я сказал, есть. Она спросила, что за девушка, я подумал и сказал, что она работает в управлении. В каком управлении? Ну, в морском. Мама очень обрадовалась, сказала, что это стабильно. Показал кольцо. Она взяла мою руку, подержала и сказала: Тёмочка, какое оно холодное. И какое красивое. Это что, горный хрусталь? Ой, смотри, у тебя палец какой белый, ты его не отморозил? Надо снять и растереть.

Я говорю: мам, оно не снимается.

Она посмотрела. И я тоже посмотрел. Я раньше не пробовал, зачем? А тут попробовал. Кольцо не шло. И палец у меня под ним был такой, как будто воск. Он совсем не болел, он уже вообще ничего не чувствовал. Я как будто пальцем до него дотрагивался через одеяло.

Я сказал: мам, это такое, у них такое принято. У морских.

Потом мы пошли к бабушке. Она на другом конце Ленинградки живёт, в пятиэтажке, на первом этаже, у неё балкон

весь в рыбе. Бабушке Вале восемьдесят лет, она маленькая, как воробей. Ей звонить надо долго, потому что она глухая и притворяется, что нет. Она всю жизнь проработала в порту, на приёмке, считала ящики. У неё на всё один ответ: «Ничего. Перезимуем».

Я её люблю больше всех. Если бы я кому-то мог рассказать про мост, про Варю и про море, я рассказал бы ей. Она бы сказала: «Ничего. Перезимуем».

Я сидел у неё на табуретке, ел пирог с треской и рассказывал ерунду. Она смотрела на меня, не на губы, а прям в лицо, как будто пересчитывала. И потом она вдруг сказала:

— Ты чего такой? Как на привязи.

Я чуть пирогом не подавился.

— В смысле, баб?

— Ты всю жизнь как ветер в трубе, а сидишь ровно. Уши твои где? — Она взяла меня за ухо. — Я таких видела, в порту. Это когда жена начальника порта мужа на цепь сажала. Ладно. Ничего. Ешь. Дай сюда, на тебе пятно.

Она встала и потащила мою куртку. Пока она тёрла пятно хозяйственным мылом над раковиной, я от нечего делать смотрел на комод. У неё на комоде всё всегда на одном месте: салфетка, ракушка из Сочи, папин портрет с автобусного конкурса. И фотография в рамке из ракушек, которую я видел тысячу раз, с тех пор как родился. Маленькая, старая, с зубчатыми краями. Там стоит парень в форме, в бескозырке с ленточками. Курсант мореходки. Брови вразлёт, рот до

ушей. Видно, что снимать его было трудно, потому что он всё время ржал. Сзади него сопка.

Я его видел и раньше. Это дед. Николай. Я никогда им особо не интересовался. Он утонул до папиного рождения. Ушёл в рейс, и всё. Они, по-моему, и пожениться не успели. Она поэтому Зайцева, а папа у нас Николаевич. Бабушка про него никогда ничего не рассказывает, а я никогда не спрашивал. Я просто раз в жизни, лет в шесть, спросил: а дед, он какой был? И она сказала: «Смешной». И пошла чистить рыбу.

А сегодня я почему-то подумал, что я, наверное, раньше просто не умел как следует смотреть. Вот ведь сидит человек девятнадцать лет на свете, и всё ему смешно. Я, правда, себя в зеркале только с другой стороны вижу, но Кира всегда говорит, что я улыбаюсь ушами.

Потом я выпил чаю и забыл.

Я вернулся, потому что пришло время. Это было странно. Раньше как: сижу, хлоп, и всё. А сейчас я весь день чувствовал, как будто тебя на резинке сильно оттянули, и она тянет и тянет назад. Кольцо было ледяное до самого плеча. Я сказал маме, что у меня поезд. Папа пришёл со смены, посмотрел на меня через всю кухню. Я ему сказал: пап, я поехал. Он кивнул. И уже в прихожей, пока мама заворачивала пирог, папа наклонился за тапком и сказал мне тихо, глядя в пол:

— Если тебя кто на маршрут не пускает, ты это, скажи. Я, конечно, ничего не понимаю. Но я тридцать один год за рулём, я этих диспетчеров много видел.

Я на него посмотрел.

— Да нет, пап, — говорю. — Там всё нормально. Там наоборот, она хорошая.

— Ну и хорошо, — сказал папа. И выпрямился.

Я вышел на лестницу, постоял, послушал, как у соседей включён телевизор. Я не хотел отпускать это всё. Я просто разжал руку.

Остановка шестая

Я упал на пол в Кириной комнате. Прямо возле стола, на Ликвидность, и она заорала. Кира подняла голову. У неё лежали какие-то бумаги, горела лампа, стрелки были ровные, как всегда.

— Семь часов пятнадцать минут, — сказала она. — Ты где был? Обоз на Кошки ушёл без расписки.

Я не знаю, почему я не сказал.

Я протянул ей пирог. Он был ещё тёплый, с треской, завёрнутый в мурманскую газету. Я думал, она спросит. Она развернула, посмотрела на дату на газете, очень внимательно. Посмотрела на кровь у меня на воротнике. Посмотрела на кольцо.

Я видел: она что-то посчитала. Она всегда считает.

— Ты пересёк границу, — сказала она. — С ним на пальце. — Голос у неё был ровный. Почти даже заинтересованный. — Этого не должно было быть. Зайцев, ты нарушил контур. Может, ты понимаешь, что ты мог не вернуться? Я подтяну. Завтра сделаю плотнее.

И она отщипнула кусочек пирога, положила в рот. Пожевала.

— С треской, — сказала она. — Хороший. Надо будет закупить муку, если они так умеют. Глаша, запишите.

Я стоял и смотрел на неё.

Я ужасно её люблю. Вы только не думайте.

Просто она раньше, если я где-нибудь пропадал, кричала. Она меня в шкафу один раз нашла и кричала сорок минут, с цифрами. А потом у неё тряслись руки, и она говорила, что это от кофе.

Пройдено: 1 200 км, наверное. Не знаю. Обратно тяжелее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.